

# Веркин Э.

## Через сто лет

\*\*\*\*\*

Веркин Э.

Через сто лет: повесть. — М.: Эксмо, 2014. — 352 с.

(Эдуард Веркин. Современная проза для подростков)

Оформление серии Галины Булгаковой

Художник Оксана Селянко

OCR: sad369 (14.12.2014)

ISBN 978-5-699-71607-4

\*\*\*\*\*

Эдуард Веркин — писатель, неоднократный лауреат литературной премии «Заветная мечта», лауреат конкурса «Книгуру», победитель конкурса им. С. Михалкова и один из самых ярких современных авторов для подростков. Его книги необычны, хотя рассказывают, казалось бы, о повседневной жизни. Они потрясают, переворачивают привычную картину мира и самой историей, которая всегда мастерски передана, и тем, что осталось за кадром.

События книги происходят в далеком будущем, где большая часть человечества в результате эпидемии перестала быть людьми. Изменившийся метаболизм дал им возможность жить бесконечно долго, но одновременно отнял способность что-либо чувствовать. Герои, подростки, стремясь испытать хотя бы тень эмоций, пытаются подражать поведению влюбленных из старых книг. С гротескной серьезностью они тренируются в ухаживании, совершая до смешного нелепые поступки. Стать настоящим человеком оказывается для них важнее всего.

«Через сто лет» — фантастическая повесть, где под тонким слоем выдумки скрывается очень лиричная и одновременно пронзительная история любви. Но прежде всего это высококлассная проза.

Повесть издается впервые.

A watercolor illustration depicting a man and a woman walking away from the viewer. The man is on the left, wearing a dark shirt and trousers, pushing a bicycle. The woman is on the right, wearing a light-colored dress. They are walking on a path that leads towards a large, glowing orange moon in the sky. The background is a mix of dark and light washes, suggesting a landscape with trees and a body of water. A large, dark, abstract shape is visible in the upper left corner. The overall mood is contemplative and nostalgic.

Эдуард Веркин

Через сто  
лет

## **Оглавление**

**Глава 1. ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ**

**Глава 2. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ НАС**

**Глава 3. КОЛЛЕКТОР**

**Глава 4. ПЛАНЫ**

**Глава 5. РОЗОВЫЙ ГРУЗОВИК ЛЮБВИ**

**Глава 6. ЛИРИЧЕСКИЙ БАРАБАН**

**Глава 7. ГЕМАТОГЕН**

**Глава 8. СОУЛБИЛДИНГ**

**Глава 9. ЧУГУННЫЕ НЕЗАБУДКИ**

**Глава 10. ЗВЕЗДЫ НЕПТУНА**

**Глава 11. СУМЕРКИ**

**Глава 12. БЛАДБУРГЕР**

**Глава 13. «ДРУЖБА»**

**Глава 14. ПОТОМУ ЧТО НАВСЕГДА**

**Глава 15. ХОЛОДНЕЙ ДОЖДЯ  
ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ**

Журналист был настойчив.

Я сразу понял, что это журналист, от них пахнет.

Действительно пахнет, это не фигура речи. Краска, бумага, опять бумага, кофе. Специфическое амбре журналистов, смесь назойливости, некомпетентности, мании величия и принципиально не стиранных рубашек. Журналисты одинаково пахнут везде. На Земле, на Марсе, на станции «Черный принц», плывущей в огне между звездой и орбитой Меркурия. Мне кажется, журналисты и раньше так пахли, некоторые вещи ведь не меняются. Как, например, газеты. Как книги. Кто сейчас вспомнит омерзительно вечные электронные книги, пластиковые, удобные, с предусмотрительно загруженной в память всеобщей библиотекой? Пластиковые газеты, обновляющиеся каждую минуту, рекламные облака, всплывающие в окна...

Я помню, мне много лет. И я знаю: все возвращается на круги своя. Бумага, карандаши, фарфоровые тарелки, деревянная мебель, пленочная фотография, камин, пешие прогулки, радио. Ламповые приемники, теплые и трескучие,

теперь стоят в каждой гостинной, светятся загадочным фантастическим светом, и нет больше...

Впрочем, я отвлекся.

Первый раз я увидел его в мае, он бродил вокруг дома, разглядывал. Днем в обычный бинокль, вечером — в инфракрасный. Назойливый такой молодой человек. Не мог по-простому, по-человечески, прислать бы письмо, попросил бы о встрече...

Но этот начал выслеживать.

Последний... то есть предпоследний журналист приезжал ко мне семнадцать лет назад. Весело тогда получилось. А последнее удачное интервью... наверное, тогда, в Австралии. Этот, думаю, меня тоже порадует, в последнее время что-то скучновато.

Солнце тонуло в океане, я поднимался на веранду, устраивался поудобнее перед телескопом, включал приемник. Смотрел в небо через поляризационные очки, и звезды не мигали. Потом смотрел в телескоп. На облезлую Луну, на Марс, на станцию «Черный принц», которую отсюда, конечно, не видно.

Но она там.

Слушал эфир.

У меня хороший приемник, мощный. Раньше такие ставили на «Пионеры», теперь их используют радиолюбители. И я. Небо заполнено звуками. Трещит корона Солнца, суетливо балаболит Луна, красное смещение заполняет Вселенную равнодушным шепотом, и так всегда. Я слушал небо, а журналист наблюдал за мной — периодически я ощущал на лице любопытную волну от его древнего тепловизора. Это продолжалось целую неделю, я терпел, иногда даже дружески помахивал ему рукой. Но журналист был очень дикий и каждый раз шарахался через заросли шиповника, даже смешно, я смеялся.

На вторую неделю он осмелился перебраться через заборчик. Я услышал это. Забор скрипнул и чуть не сломался, мне стало обидно: первый журналист, нашедший меня через много-много лет, — и неуклюж, как медведь. А он затаился и почти не дышал, минут десять, а потом пополз к дому, стараясь

не шуметь, но шумел, как слон. Как сотня слонов. Он добрался до бассейна, но дальше продвинуться не решился, так и лежал до утра, разрушая музыку ночи своим сиплым дыханием.

В третью неделю, когда он обнаглел до того, что стал заглядывать мне в окна, я решил пошутить. Это было легко, он стоял возле окна, возил по стеклу носом с неприятным скрипом, от которого мне становилось не по себе. Я выбрался на крышу, спрыгнул в сад, подошел к репортеру и потрогал его пальцем за шею.

Он наделал в штаны. Немного, но наделал, так, прыснул, я понял, почему у всех журналистов свой аромат. Еще он закричал, и побежал, и сломал мне розовый куст, между прочим, редкий сорт, я за ним в Австралию летал.

Эта наша встреча оказала на журналиста благотворное действие — он не показывался целую неделю и еще две недели держался от дома подальше, сидел в «Оладушке», а вечером в «Перекусе», пил кофе и смотрел на меня в подзорную трубу. Меня это не раздражало, у него работа такая. И сущность, ее-то уж точно не поменять. Может, он хочет написать книгу. Другие пару раз уже пробовали, и документальную, и роман. Не получилось. А этот думает, что получится, этот оптимист.

А вчера он подговорил Дэна.

Я сидел на крыльце, слушал кузнечиков и считал звезды, потом услышал Дэна. Он перелез на мою сторону по старой груше и теперь крался вдоль стены. Это у него забава такая — меня пугать. Каждый раз старается застигнуть врасплох. Вот и сейчас — даже дыхание задержал, он пловец, на две минуты почти может.

Но я его слышу. Сердце-то он задержать не может.

— А-а-а! — Дэн выпрыгнул у меня из-за спины со страшным лицом.

В кожаной шляпе, в старом вельветовом пальто, которое должно было изображать плащ из буйволиной кожи, с самодельным крестом в левой руке и с колом в правой. Кол не осиновый, ножка стула обструганная.

— А-а-а! — Дэн размахнулся колом.

Я испугался. Выпучил глаза, дернулся, закрылся руками, все как полагается, сделать ребенка счастливым так легко.

— Трепещи, носферату! — воскликнул Дэн. — Ибо зришь ты смерть свою!

Я закрыл руками голову. Немного пошевелил пальцами.

— Трепещи! — повторил Дэн и выставил перед собой крест.

Я зашипел.

— А-а-а!

Я задрожал мелкой и крупной дрожью.

— Испугался! — заверещал Дэн. — Испугался!

— Сколько можно? — обиделся я. — Я твоей матери все-таки пожалуюсь. Я уже старый, а ты меня пугаешь. Это некрасиво.

— Ты же мне обещал в Ван Хелсинга поиграть! — Дэн размахивал крестом. — Как в прошлом году! Я уже Петьке рассказал, Илье рассказал, как мы тогда здорово поиграли! Когда пойдём? Там терминал собираются ставить, все снесут, ничего не останется. А ты обещал!

— В июне, — ответил я. — В июне. Вот как листва станет поуще, так и пойдём. А то какой интерес-то, без листьев? Вы меня сразу поймаете.

— Поймаем тебя, носферату! — воскликнул Дэн, потрясая вампироборческой амуницией.

— Хорошо, хорошо. Но только в июне.

Дэн послушно кивнул.

— И ещё, Денис, тебе надо поработать над костюмом. Шляпа, плащ — это нормально, только вот над кольями стоит подумать. Зачем стулья ломать? Пойдите в мастерскую, возьмите обрезки, из них колья и выстругаете. И чеснок ещё нужен.

Дэн поморщился.

— А ты что думал? Ты думал, что меня без чеснока можно побороть? Нет, дружок. Не все так просто. Так что чеснок, колья...

— А серебро?! — с энтузиазмом спросил Дэн.

Я представил, как Дэн переплавляет на серебряные пули фамильный сервиз, и сказал:

— Не, серебро не пойдёт. Серебро — это предрассудки, бабкины сказки. Я сам с серебряных тарелок ем.

Дэн разочарованно вздохнул, видно было, что он имел насчет фамильного сервиза большие планы.

— Ладно, — сказал Дэн, — без серебра. Но тогда я еще Светку позову.

— Что?

— Светку, новенькую. Ее ко мне посадили, она меня на день рождения пригласила. А я ее на вампирскую охоту позову. Ладно?

Свету. На охоту. Я поглядел в сторону моря. Я люблю море. За цвет. Это банально и миллион раз говорилось, но оно все время разное — так что все время кажется, что ты живешь в разных местах. Море — это как калейдоскоп, все время тебя переворачивает.

Свету на охоту.

— А что, нельзя, что ли? Почему нельзя, дядь Вить? А что тут такого-то?

— Видишь ли, Денис, — сказал я мудрым и медленным голосом. — Видишь ли, охота на вампиров — это все-таки мужское занятие. То есть женщины на вампиров не охотились никогда...

— А как же Баффи?! — перебил меня Дэн. — Она же... Я сокрушенно покачал головой.

— Что?

— Баффи — это сказка, — сказал я. — Никакой Баффи никогда не жило вовсе. Баффи, наследники Дракулы, племянники Носферату...

Я зевнул.

— Я тебе крылышко почию, — пообещал Дэн. — То есть мы с папой, конечно. У тебя две ступеньки прогнали.

Папа у Дэна лодырь. Года три назад мы строили гараж для глоссера, Дэн-старший скис на двадцатом гвозде, пришлось мне доделывать самому.

— Буду убирать яблоки, — пообещал Дэн.

Неплохо. Яблоки осенью проблема, иногда за ночь падает столько, что утром трудно открыть дверь. Очень не люблю их убирать. А спилить жаль — цветут долго и красиво.

— И подметать лестницу к пляжу.

Я зевнул еще шире и сказал:

— Ладно, я подумаю насчет твоей Светы. Только пусть она у родителей разрешения попросит. Она как вообще, не из пугливых?

— С парашютом прыгает, — ответил Дэн.

Я усмехнулся.

— Из стратосферы, — уточнил он.

— Ладно, — согласился я. — Но пусть она у родителей все равно отпросится.

— Хорошо, отпросится. А ты это... Не мог бы... — Дэн скорчил рожу. — Не мог бы ты немного... Постарее быть, что ли. А то ты слишком молодо выглядишь, многие не верят.

— Обойдетесь, — отмахнулся я.

— Ну, или хотя бы рванину какую надень, а?

— Это можно.

— Здорово!

Дэн снял шляпу, принялся обмахиваться. Уходить не спешил, дышал громко.

— Что еще? — спросил я. — Только ничего рассказывать не буду, сегодня я не в настроении.

— Ладно. Слышь, дядь Вить, а там это... Писатель.

— Что за писатель?

— Ну, ходит тут уже неделю. А ты что, не видел разве? Я покачал головой.

— Я его давно заметил. Он тут у всех про тебя спрашивает. И в столовой, и на стадионе.

— И что? Рассказывают?

— Нет, конечно. Но он липучий. Мне билет на Луну обещал.

— За что?

— Если я его с тобой познакомлю.

Дэн вздохнул.

— Очень хочешь на Луну? — спросил я.

— Хочу. У нас в классе почти все уже на Луне были, только я один нет. Знаешь, у мамы лунофобия, а я думаю, что у меня нет, хотел бы проверить...

Дэн поглядел в небо.

— Понятно, — кивнул я. — Слушай, ты не особо расстраивайся насчет Луны. Там скучно, поверь мне. Впрочем...

— Я тоже поглядел в небо. — Впрочем, пожалуй, ты прав, — сказал я. — В юности надо путешествовать, это расширяет кругозор. Тут главное не продешевить. Одного билета на Луну за знакомство со мной явно маловато, проси четыре.

— Четыре? — удивился Дэн.

— Ага. Папа, мама, сестренка и ты. Слетайте на недельку, глядишь, и мама от лунобоязни излечится.

— А Филимон?

— Я думаю, Филимона тоже можно взять, Луна большая. Так что ты скажи этому писателю, чтобы приходил. Понял?

— Понял.

— Только билеты вперед возьми, нельзя доверять писателям.

— Почему?

— Не знаю. Но старые книги учат именно этому. Иди теперь.

Дэн почесался, уходить не спешил.

— А велосипед? — спросил он. — Когда ты мне его починишь?

— А отец что?

Дэн пожал плечами.

— Он не может. Он по интеллектронике специалист, а велосипед — слишком примитивная техника. А ты можешь.

— Завтра приходи, — сказал я. — После обеда. Может, почию. А теперь домой.

Дэн поволокся к себе, шурша кустами и посвистывая.

Этим же вечером я починил велосипед, на следующий день после обеда Дэн его забрал, а ближе к вечеру заявился писатель. То есть журналист, писатели пахнут чуть по-другому.

Он здорово трусил и поэтому залился страшным одеколоном, от которого у меня в голове похолодело. Долго не мог сказать, что ему от меня нужно, все мямлил и мямлил, стоял на пороге, оглядывался назад, так что мне пришлось взять все в свои руки:

— Вы хотите взять интервью?

Он начал болтать про то, что да, интервью, про то, что это интервью будет уникальным, что он добрался до меня с огромным трудом — почти три года искал, вернее, уговаривал

сотрудников Института сравнительной антропологии дать мой адрес...

— Интервью — это интересно. — Я почесал подбородок. — Я уже не помню, когда в последний раз у меня брали интервью.

— Семьдесят четыре года назад, — уточнил журналист по блокноту. — Ровно семьдесят четыре года назад, это было в Сиднее. Вы тогда...

— Давайте ближе к проблематике, — оборвал я. — У вас мало времени.

— В каком смысле? — занервничал журналист.

Журналисты мельчают. Раньше приезжали серьезные мужики, волки блокнота и самописца, они готовились к интервью, как к сражению, а этот был мелкий.

— Жизнь скоротечна, — напомнил я. — Особенно ваша. Так что, пожалуй, не будем ее трогать.

— Да, давайте. Я хочу кое-что узнать...

— Может, все-таки зайдете? — предложил я.

Он постеснялся отказаться. Он, конечно, знал обо мне все. Но тем не менее ему было страшно. Я его понимал.

Мы устроились в гостиной.

Он принялся задавать вопросы. Разные. В большинстве своем глупые. Но я терпеливо на них ответил. И рассказал. Что я думаю по поводу закона о всеобщем высшем образовании, что я думаю вообще, даже что я думаю про освоение глубокого космоса, про разумных псевдоулиток, про новую книгу Стрыгина-Гималайского, еще что-то, на все это я ответил, однако журналист не собирался уходить, и я догадался, что одного интервью ему мало.

Он поелозил на стуле и сказал, что хочет написать книгу. Такую большую, серьезную и научную. Не только про меня, он уже договорился с другими последними, они дали согласие. Это очень важно, убеждал меня журналист. Это позволит взглянуть на проблему изнутри, согласитесь, за прошедшее время тема Прощения обросла невиданным количеством слухов, домыслов, откровенных фантазий, а вы, вы ведь стояли фактически у истоков.

— Вы повернули историю человечества, — сказал он. — Многие сравнивают вас с... Колумбом!

Врет. С Колумбом меня никогда не сравнивали. С Ганди очень часто. Не знаю, мне Ганди не нравится. Но я не спорю. И сейчас не стал спорить. Заметил, что люди часто преувеличивают мою скромную роль, но журналист пришел в волнение, схватил меня за руку и сказал, что отнюдь не преувеличивают, многие, очень многие ученые полагают, что все сдвинулось именно благодаря мне, что я первый догадался, как действовать, даже методику разработал... Ну, и так далее. Хотя есть, конечно, и противники, утверждающие, что я совсем ни при чем, что я просто стоял рядышком. Одним словом, его интересовало, как все это было на самом деле. Что неудивительно, их всех это интересует, человечество хочет знать...

Ну, и так далее. Я слышал это не один раз.

— Долгая история, — сказал я. — В двух словах не расскажешь.

— Но все-таки...

Он попытался возразить.

Я улыбнулся. Не ТАК, но, пожалуй, вполовину или в треть. Журналист дернулся и побледнел, практически бухнулся на пол. Неудивительно, в первый раз это производит жуткое впечатление, особенно вживую.

Его затошнило, и мне сразу расхотелось с ним разговаривать. Слабак. Нет, журналисты измельчали, определенно. Лучшие из них сосредоточены сейчас где-то в районе облака Оорта, на Земле остались щенки и сопляки.

Мне расхотелось с ним говорить, и я сказал, что плохо помню. Все это происходило достаточно давно, я был молод, а жизнь текла, как за стеной, вы же понимаете? Журналист понимал, он принялся рассказывать про особенности нашего восприятия, уверил меня, что он много читал про это и даже пробовал эти особенности восприятия воспроизвести — целую неделю ходил в закопченных очках и под сенсорной блокадой. Но все равно я должен попытаться вспомнить. В интересах научной антропологии, в интересах истории, в интересах еще двадцати двух наук, важных для развития человечества.

— Я специализировался на гемоготике, — сказал журналист. — В университете в Токио, у Цяня. Я защитил монографию про вас... И теперь хотел бы написать книгу...

Я улыбнулся еще раз. Не ТАК. Профессор Кидцо Цянь спущен мною с лестницы в Уэльсе, в... лет, пожалуй, сто назад, тогда он профессором еще не был, а был горячим юношей из Эдо, в одной руке ворох болезненных японских комиксов, в другой — раритетный томик Dostoevsky. Нет, сначала я будущего профессора по-хорошему, конечно, попросил: «Молодой человек, освободите лестницу, ее не для того строили, чтобы вы на ней три ночи спали и пугали своим нечесаным видом соседей». Но Кидцо упорствовал, освобождать не желал, наверное, играли свое самурайские гены. Так что пришлось спустить.

С тех пор стараюсь выбирать жилье без лестниц — грядущее светило японской семиотики сломало тогда руку и громко кричало. Я вообще люблю дюны и пляжи, чтобы пахло янтарем и солью.

Да, а этому журналисту я просто улыбнулся.

И снова он дернулся, но в этот раз взял себя в руки уже быстрее, привыкал. Я сказал ему, что меня не очень волнуют интересы большой науки, потому что сама наука лежит вне сферы моих интересов, ну, разве что прикладная механика, мотоциклы, велосипеды и так далее, а потом спросил:

— Кстати, что вы, как специалист по гемоготике, скажете о фильме «Мотоцикл-вампир»?

Про фильм «Мотоцикл-вампир» журналист не знал ничего, плохо профессор Цянь своих студентов учит, мало я его с лестницы спускал, стоило еще из окна выбросить.

— Знаете, я ведь в основном по периоду рассвета, с классикой не так хорошо знаком...

Журналист принялся оправдываться, а я предложил ему пройти в подвал, где у меня хранится небольшая, но со вкусом подобранная коллекция оригиналов: гемоготика, блэдбургер, вервольф-террор. Немного дэд-мокьюментори. Начал собирать еще в молодости, когда работал в коллекторе, такой коллекцией даже ваш Токийский университет похвастаться не может.

Предложил и облизнулся.

Журналист пройти в подвал немедленно отказался, вдруг вспомнил, что у него есть целых три чрезвычайно важных и совершенно неотложных дела, он должен написать пять писем, и вообще. Убежал, запинаясь и вздрагивая корпусом.

Я не видел его, наверное, дня три. И не чуял. Однажды, правда, он приблизился метров на восемьсот со стороны берега, но ближе подойти так и не решился.

На четвертый день журналист заявился. В этот раз от него сильно пахло валерьянкой, он долго мялся, а потом признался. Что он вовсе не хочет написать научную книгу, хочет художественную — я угадал. Но не просто какую-нибудь там, а настоящую, короче, чтобы вечность содрогнулась. Серьезную и душераздирающую. И моя история ему вполне подходит. И что он ее прекрасно знает, история легендарная. Но ему нужно больше.

Знать.

То, что чувствовал я, то, что чувствовала она.

Значит, правильно сказал Дэн, писатель. Потому что ничего не понял. Я даже пожалел немного, что теперь у меня лестницы нет, а то бы я его, бестолкового, спустил бы с удовольствием. Надо же быть таким дураком.

Знать, что чувствовал я... Нет, определенно кретин. Впрочем, что можно еще ожидать от журналиста?

## **Глава 1** **Обещание на рассвете**

Я тот день хорошо помню.

Особенно вечер, как всегда долгий, как всегда безрадостный, как Йульский бал в чертогах Снежной королевы, к востоку от Зазеркалья.

В субботу вечером Костромина получала права на собаку, событие само по себе выдающееся, хотя началось все еще с утра. Забежал Лужицкий, он на площадке живет, напротив. С кислым, даже каким-то прогорклым лицом живет, это у нас, конечно, не преступление, но и не норма тоже. Точно в асфальт расплавленный упал этим своим лицом несчастным, да так три

дня в нем и пролежал, как динозавр. Я сразу догадался, что сейчас Лужицкий начнет просить, и он, конечно же, начал.

Сообщил, что ему надо спешить, его папа-археолог исследовал капсулу времени, провалился в какие-то каверны и застрял насмерть. А там как раз дорогу строят, и если папу не вытащат в ближайшие сутки, то придется его заасфальтировать, потому что останавливать строительство нельзя никак, остановишь — дорожники уже три дня работают, терпение кончается, вот-вот разбегутся — тогда асфальт застынет, битум застынет, вся дорога испортится, и так ее никогда и не достроят. А папе потом пять лет из-под земли придется выковыриваться, и неизвестно, выкопается еще или нет, может, и навсегда застрянет. И ему, Лужицкому, надо, значит, срочно бежать выручать родителя из трещины, потому что он к нему должен испытывать как бы сыновьи чувства, так принято, так надо, а тут как раз папа провалился...

Трогательно.

Я возразил. Сказал, что сыновьи чувства не должны входить в противоречие с генеральным планом строительства шоссе, что Лужицкому надо выбрать, что ему ближе — долг перед отцом или долг перед обществом, которому он тоже, в какой-то мере, сын. Что чувства к заасфальтированному родителю можно пытаться пробудить ничуть не меньшие, чем к незаасфальтированному...

Лужицкий, в свою очередь, возразил, что вряд ли его отец хотел быть заасфальтированным, это неудобно — иметь заасфальтированного отца, на него все будут смотреть как на придурка, а на него и так все смотрят как на придурка, а он вовсе не придурок, у него перспективы, так говорят многие...

Мне надоело спорить с Лужицким, и я спросил: «Что, подменить надо»? Лужицкий кивнул и попробовал изобразить на лице просьбу и убедительность. Получилось страшно, и я Лужицкому не отказал.

Лужицкому отказывать, увы, нельзя, потому что он сам никому не отказывал, мне, во всяком случае. Бывало, не хочется на отработку, как бы лень, и Лужицкий выручает, идет вместо.

Или книжку какую редкую посмотреть, «Мотобол для чайников», или про игру в нарды, или «Введение в

нейронавтику», так у Лужицкого легко найти, у него старший брат в центральном городском коллекторе служит, может достать. А тогда еще вот — мы поспорили про подоконники, я выиграл — и Лужицкий честно простоял все зимние каникулы на крыше. Я его простил уже на третьем дне, но он все равно отстоял, сказал, что он проспорил и будет выполнять условия пари, как настоящий кабальеро и джентльмено. Лужицкий превратился почти в сосульку, но все равно не сдался. Новый год пропустил. Братья Сиракузовы хотели его петардами обмотать и немного взорвать, да я отогнал. Это к делу, конечно, не относится, но все равно хорошо Лужицкого характеризует. Я его к.б. уважаю. И хотя мне совсем не хотелось в такую рань никуда идти, я обернулся прорезиненным плащом, вооружился ножницами, прицепил на спину крюк и двинул на проспект Бумажников.

Лужицкий отработывает в велосипедной команде, это не самая веселая отработка, если честно. В коллекторе сидеть лучше, спокойнее, во всяком случае, и мозг развивается. И не так глупо, как велосипедить. Но деваться некуда. Я поскреб лоб ногтем и начал отработывать.

Первый велосипед был детским, это считалось хорошей приметой. Трехколесный, синий, закрученный практически в спираль, он лежал возле Четвертого переулка и печально поскрипывал педалями, наверное, скучая о хозяине. Я поднял его, свернул в кольцо, смял в компактный железный ком, нацепил на крюк, пошагал дальше по аллее.

Метров через пятнадцать лежала уже серьезная спортивная машина, сейчас таких осталось совсем мало. Моноамортизатор сзади, пневмовилка спереди, передачи, шестеренки, цепь с резиновыми втулками. И все в чрезвычайно плачевном состоянии, разорвано, скрючено... Потратил на него почти пять минут, приложил усилия — велосипед наполовину состоял из прочнолегких сплавов, поликарбона и модифицированной резины, сплавы гнулись туго, поликарбон вообще не гнулся, резина растягивалась, пришлось пустить в ход ножницы. Настриг байк на несколько больших кусков без надежды на восстановление, насадил на крюк и продолжил обход.

Велосипеды встречались один за другим, по аллеям проспекта Бумажников любили кататься, многие просто гоняли, другие ехали на работу. И те и другие старались чересчур, компенсаторами, разумеется, не пользовались, техника не выдерживала, даже самая лучшая. Поэтому утренняя аллея проспекта Бумажников походила на настоящее велосипедное кладбище, не знаю, есть ли такие, наверное, есть.

Года три как велосипеды пытались запретить. По причине, что слишком много времени на них тратилось. Мода пошла лет, наверное, пятнадцать назад, с чего началось, никто не помнил, во всяком случае, я не знаю. Все вдруг как-то разом пересели на велосипеды, искали их, чинили, катались, ломали, бросали, искали другие, собирали из пяти один, потом из восьми один. Кажется, это было единственное наше массовое увлечение, необъяснимое, загадочное, чтобы разгадать, даже привлекали людей из Академии наук, комиссию создавали.

Но и люди не разгадали. Флуктуация, вот и весь рассказ. В целом же комиссия сделала положительные выводы, отметила, что велосипеды запрещать не надо, это положительный, хотя и необъяснимый феномен.

И на велосипедах до сих пор продолжали гонять. И бросать. У нас ведь терпения никакого — чуть сломалось — бросили и дальше пошли, на следующий день можно другой взять. А если велики с улиц не убирать, то все это очень непроходимо делается, заржавеет, вырастет в землю, обомшеет, просто велосипедные джунгли случатся. Вот и приходится убирать. Иногда убирают ребята из городской Ассоциации волонтеров, а чаще школьники отработывают, мы то есть.

Отработки есть всякие, каждая непохожа, это чтобы бороться с энтропией разнообразием, в точности по рекомендации Академии. Велосипеды можно по бульварам собирать, в коллекторах дежурить, старый асфальт ломать и отвозить в переплавку, или на химическом заводе, или в металлоприемнике, да вообще работы много, а рабочих все время не хватает. Хотя энтропия, если честно, от многих причин зависит, от воспитания, например. Вот братья Сиракузовы все время от отработки отлынивают, асоциально себя ведут, известные маргиналы. У них прадедушка, кстати, не

в колбе, как в приличных семьях, а так, в собственном соку лежит на диване, кожей обрастает. А Сиракузовы его кислотой протирают, чтобы не оуклился. Так уже три года дедушкой и прикрываются, на отработку через третий раз выходят — и уже совсем дураки, хотя еще и молодые. Еще чуть — и все, оуклятся сами, чресла вrastут в кресла.

Вообще, лучшая самая отработка — это, конечно, загородные районы разбирать. Пригород. Западный Берег, Заречье. Там культуры много всякой сосредоточено, а она энтропии противостоит, даже если совсем в ней и не разбираешься, сама по себе. Опыты даже проводили — если в семье присутствует хоть какая культура, статуя в углу или репродукции великих живописцев, то в этой семье оукливаются в полтора раза меньше. Но школьников за город, к сожалению, совсем редко вызывают, потому что ответственность большая, опытные работники нужны. Хотя и в коллекторе тоже, если честно, неплохо, спокойно так. А вот велосипедить мне не очень нравится, так вот, рутинная работа, а я люблю к.б. творческую.

Остановился возле памятника Кутузову, как раз посередине проспекта Бумажников. Возле памятника есть бассейн, и в нем всегда полно велосипедов, почему-то многие считают, что кинуть велик в бассейн — это очень по-человечески, широко, предрассудок такой дикий. Вот и кидают. А мы достаем, утилизируем. Потом их на ремзавод отвозят, кидают в дробилку, измельчают, переплавляют в болванки, складывают до лучших времен.

Вообще-то тут рядом с постаментом багор должен особый храниться — специально чтобы велики доставать. Я пошарил, но багра не обнаружил, увели. Лезть в воду не хотелось, но пришлось, работу следует выполнять хорошо и до конца. Иначе...

Я продавил тоненький лед поверху фонтана. Вода была мутной, густой и неприятной. Я наклонился, опустил руки и нащупал голову. Самую настоящую — уши, нос. Понятно. Потянул за уши. Из воды показался энтропик. Мерзкого желтого цвета. И уже какие-то пиявки завелись в глазах,

шевелиются, копошатся. Удачненько день начался, ничего не скажешь. Хотя...

Хотя это довольно часто случается — я про энтропика, конечно. Распространенное у нас явление. Сначала на работу перестает заглядывать, книжки читать перестает, зубы полировать, потом про еду забывает — и все, готов, посыпался. Когда души нет, тело стремится к распаду. Поэтому надо держать себя в руках. Держать. Читать, в кино ходить, в шахматы играть. А то...

Я прикусил язык, сплюнул через левое плечо. Сам виноват — слишком уж раздумался. Не надо про нее думать — плохая примета. Тьфу. Тьфу сорок раз.

Я посмотрел на энтропика. Все, безнадежен, тотальный аут. Рот слипся, глаза затянулись, руки к телу через костюм прямо приросли. Гадость. Ненавижу энтропиков, тошнит от них. Но бросать нельзя, это тоже правило. Вытащил дохляка на сушу, прислонил к постаменту Кутузова. Потом энтропийная команда заберет.

Лезть в воду мне совсем перехотелось, ну его. А вдруг там эти энтропики еще есть? Говорят, они иногда целыми семьями окукливаются, наследственность срабатывает, менталитет. Вроде как ген такой есть — ген плохого настроения, у людей он вызывает депрессию, у нас — энтропию. Некоторые вообще считают, что они заразные, между прочим. Это, конечно, бред и сплошные суеверия, но...

Все равно лишний раз энтропика трогать не хочется, ну его. Достал пузырек с кислотой, продезинфицировал руки. Кожа побелела и слезла почти перчатками, я протер ладони о брезентовую куртку, ободрал до красного, подул. Конечно, не заразно, суеверия, конечно.

Энтропик качнулся, и отлип от гранита, и упал лицом в асфальт. Поднимать не хотелось, впрочем, его и так найдут, пожалуй, пусть себе лежит потихонечку. Я огляделся и отправился дальше собирать утренние велосипеды. Совсем немного отошел от фонтана, может, с двести метров, вдруг раз — свистят. Обернулся.

По аллее с какой-то нереально космической скоростью неся очередной гонщик. Я издали еще услышал — разлетелся

подшипник в ступице, шарики рассыпались и, скорее всего, смазки нет вообще, велосипед запущен до безобразия, за ним, кажется, никогда не ухаживали. Но сам гонщик этого ничего не замечал, жал на педали, навалившись на руль, выставив зубы на три километра, с перекошенным зверским лицом...

Кажется, велосипед был придуман как средство для веселых прогулок. Томные английские барышни совершали прогулки по вересковым пустошам, дышали свежим морским воздухом и радовались беспечной жизни. Интересно, что бы они подумали, увидев вот этого ездока?

Гонщик давил на педали. Затем случилось должное — подшипники спеклись, ось заклинило, переднее колесо сплющилось, и ездока катапультировало через руль. Он не стал группироваться, как обычно, полетел враскоряку и потащил за собой машину — штанину затянуло в цепь, гонщик проехался по асфальту, наматывая велик на себя, тут же поднялся и пошагал себе дальше. Как ни в чем не бывало. Велосипед волочился следом, но он заметил это только шагов через десять, проходя мимо меня. Обернулся, дрыгнул ногой, велик отскочил, мне прибавилось работы. Так вот.

Этот выглядел грустно. Да-да, бывают грустные велосипеды, печальные. Старый, с облупившейся краской, на камерах грыжи в кулак, на руле дурацкие пластиковые розочки. Мило.

А еще бывают веселые. Блестят хромом, гремят звоночками, погрохатывают крыльями, точно взлететь собираются. Когда такой видишь, на душе какая-то к.б. радость приключается, будто весна, новый день, к.б. надежды всякие.

И злые бывают велики. Вредные, глаз да глаз за ними нужен: то тормоза переклинит — и носом об асфальт, то колесо вскочит — и через руль, про звездочки я молчу, и дребезжит так, будто хохочет демонически.

Хитрые. Ну, эти все исподтишка делают, чуть что бац — спица из обода вылетела, и колено в двух местах навывлет. Ну, штаны зажевывает, это само собой, штанов не напасешься, некоторые, я заметил, специальные кольчужные штаны носят.

Разные велосипеды бывают. А этот печальный, свернули ему шею, лежит в тоске, кривыми колесами не шевелит.

Поглядел я, поглядел, подцепил этого грустного, насадил на крюк, бедолагу.

Впрочем, это тоже наша особенность. Склонность одушевлять предметы. Бывает, ничего не могу с этим поделаться, с велосипедами особенно. Иногда им даже клички придумываю: Хромой, Хрипатыч, Короед. Но редко. Если придумывать клички, потом трудно на крюк сажать.

Из-за дерева выбрела сомнамбула. Самая настоящая. Настоящий то есть. Лег, наверное... трудно сказать. Выглядит вполне ухоженно, видно, что с принципами, и пуговицы все на месте, и галстук. Глаза завернуты под лоб, руки чуть вперед выставлены и подрагивают, все как полагается. Ковыляет.

Прямо на дорогу.

Вот такое утро. И энтропик, и сомнамбула. Надо было сразу понять, что неспроста это все. Знаки, возможно, предупреждение какое.

Я стал думать про знаки, и про предназначение, про все, как оно устроено, отвлекся и обнаружил, что сомнамбула все прет и прет на дорогу, а на дороге гололед, между прочим.

Сомнамбулы — они всегда так, ходят только прямо, никуда не сворачивают. Мозги потому что заклинивает, как у больных голубей. Сидит-сидит, бац, в башку стрельнет, вот он гулять и отправляется, дома не спится ему. Сомнамбулы безопасны, в принципе, но только на дороги любят выскакивать, создавать помехи движению. Поэтому их по утрам специальные машины отлавливают — СЭС — сомнамбулическо-энтропийная служба. Конечно, она не успевает иногда, поэтому если сомнамбулу видишь — ты его смело направляй в ближайшую стену — он в нее до рассвета будет идти, или пока не проснется.

А еще на них гадать можно. Сзади заходишь, а потом по голове его бамс! Главное, не сильно, чтобы совсем шею не свернуть. Ты его хлопнешь, значит, а он что-нибудь и скажет. В сумерках сознания. Вроде как будущее тебе предречет.

Сам я никогда не гадал, девчачье это занятие, а тут вдруг чего-то захотелось. Наверное, энтропик этот дурацкий меня сбил с толку, на мистический лад настроил. Так что догнал я

сомнамбулу, попал ему в шаг, ну, и по голове кулаком приложил. Несильно так, килограммов в двенадцать.

Конечно же, он не обернулся, буркнул что-то неразборчивое, даже я не понял. Я его тогда еще разок приложил, чуть сильнее, килограммов в шестнадцать.

— Когда-нибудь, — сообщил сомнамбула отчетливее.

Когда-нибудь. Весело. Вот Сиракузовы догнали как-то раз сомнамбулу, стукнули — так он им прямо так и сказал: «Акваланг». И не прошло и полгода, как их отец выиграл акваланг в лотерею. Правда, зачем ему акваланг, непонятно, но все равно. Так что про сомнамбул это правда. А что значит «когда-нибудь»? Поди разберись. Когда-нибудь.

Я даже думать на эту тему не стал, побрел дальше велосипеда собирать, стремиться к норме. Но дальше ничего интересного уже не попадалось — обычное все, ржавое, корешенное, многократно починенное, латаное-перелатаное, и лишь в самом конце проспекта встретил интересное, так что остановился и посмотрел, стараясь запомнить. К мотоциклетной раме с мотоциклетными же колесами приладили педали, которые через редуктор и карданный вал передавали усилие на заднее колесо. Конструкция получилась с виду весьма прочной, во всяком случае, выглядела надежно, малоубиваемо, не то что обычные наши велики. За рулем сидел вуп лет, наверное, сорока, по-нашему, крутил с энтузиазмом педали, в спицы даже открытки вставил, а к седлу колокольчики привязал. Здорово у него получилось, я даже подумал, что неплохо бы себе такой завести, только где мотоциклетные детали отыскать, не знаю.

Интересно, сам он это придумал? Если сам, то тут налицо к.б. творчество, то есть вполне себе по заветам сделано, к.б. развитие, и даже, пожалуй, некоторый анабасис. Почти жизнерадостно.

Да и сам велосипедист выглядел неплохо, улыбался и радовался, видно, что через силу, но все равно улыбался. Не у каждого это получается. Я засмотрелся вслед этому жизнерадостному и тут вдруг услышал:

— Эй, Полено!

Я обернулся. Костромина. С двумя великами под мышками — помощь мне оказать решила. Странно.

— Привет, — сказал я и к.б. обрадовался.

Я, когда вижу Костромину, всегда как бы радуюсь. И как бы улыбаюсь.

— Привет, — повторил я.

— Держи, Поленов, тут недалеко нашла. — Кострома нагрузила на меня велосипеды.

— Спасибо...

Не ожидал, если честно. Кострома редко поднимается раньше семи, соблюдает режим, а тут что-то случилось. Явно случилось. И велики эти. Что-то ей от меня нужно.

Так и оказалось.

— Поленов, сначала пообещай, что выполнишь мою просьбу, — потребовала Костромина. — Немедленно.

Есть у нее такая привычка. Возникает вот так, вдруг, ни с того ни с сего, утром, или ночью даже, скребет пальцем в окно и просит, чтобы я пообещал. Пообещай, пообещай, пообещай.

Я обещаю. Летом из поликлиники приходил энтропатолог, проводил диспансеризацию. Толщину глазной пленки, частоту дыхания, ну, все, что полагается, одним словом. Силу воли тоже, между прочим. Сила воли у Костроминой в три с половиной раза крепче, чем у меня, так что мне Костроме очень сложно противостоять. Я обещаю.

— Обещаешь? — прищурилась Костромина.

Я к.б. обреченно кивнул.

— Я знала, что ты мне поможешь.

Костромина подмигнула. Ресницы на правом глазу отвалились. Они у нее всегда отваливаются, клей никак не может подобрать, к.б. злится от этого. А я вообще без ресниц хожу, и ничего, никто пальцем не показывает.

— Да, — ответил я. — Я тоже знал. Всегда.

— Вот и хорошо, — сказала Костромина. — А чего это ты здесь? Луже, что ли, опять помогаешь?

Я промолчал.

— Зря. — Костромина приклеивала ресницу. — Зря с ним возишься.

— Почему? — спросил я.

— Он же аут-положительный. Бесперспективный. То есть совсем.

Я промолчал. Лужицкий, конечно, в силе воли не чемпион, но все же не аут.

— У него же на лбу написано, что через пару лет оуклится, — сказала Костромина. — Не, если ты хочешь с ним в ноль вывалиться, дело твое...

Костромина уставилась на меня. И я на нее.

— Ладно. — Она махнула рукой. — Каждый умирает в одиночку. Давай, Полено, велосипедь. Пока. Вечером встретимся.

— Встретимся, — кивнул я. — И это... я тебе помогу. Как обещал.

Силы воли нет. У меня.

— Нет, вечером по другому поводу, — поправила Костромина. — Вечером у меня собака, а сможешь ты мне вообще. Завтра. Или послезавтра. Ясно? Когда понадобится.

Чего же яснее?

Видимо, на лице у меня непроизвольно возникло к.б. недоверчивое выражение, и Кострома тут же спросила с к.б. угрозой:

— Какие-то затруднения, Полено?

— Да ну, что ты...

— Если не придешь — ты мой враг на всю жизнь, — напомнила Кострома. — Так и знай. Я прощать не умею.

— Приду, — пообещал я.

— Приходи. — Костромина погрозила пальцем. — Не забывай. Это очень важно.

И убежала.

А я остался на проспекте Бумажников. Собрал еще несколько искалеченных велосипедов, насадил их на крюк, понес на школьный двор. Шагал, смотрел на отражение в витринах и в лужах. Смешно к.б. Лома скопилось довольно много, и среди него меня совсем не различалось, отчего казалось, что гора металла движется сама по себе. Интересное зрелище, мне показалось, что немного художественное.

На школьном дворе металлолома скопилось уже много, куча до второго этажа, все никак вывезти не могли. Если так дело пойдет, то скоро к школьным дверям и не пройти будет. Я

сбросил свой хлам к остальному хламу, а потом сбегал домой за учебниками и вернулся в школу.

Сегодня в школе не произошло ничего интересного, все целиком по программе. На географии в четвертый раз проходили про Америку, где она расположена, какая там природа, климат, реки, ну и так далее. На физике про сопротивление материалов, тоже в какой-то уже баснословный раз, я даже совсем позабыл, в какой, впрочем, кое-что из сопротивления материалов я помнил. Потом была технология, и учитель рассказывал нам про разные хорошо забытые технические новшества, например, про сотовые структуры. Оказывается, если отлить пластик в виде сот, он гораздо прочнее, чем обычный, во много раз. Технолог дал братьям Сиракузовым сначала обычный кусок пластмассы и велел рвать. Они дернули — разорвали враз. Тогда он им сунул сотовую пластмассу. Сиракузовы дергали-дергали, ничего не разорвали, дураки, наглядно продемонстрировав превосходство разума над бессмысленной плотью.

Следующие два урока я не воспринял, кажется, раньше я на них уже присутствовал, а может, и нет. Мозг перегружился и не функционировал. Но я все равно присутствовал, усердие должно быть.

Костромина на уроках не присутствовала, готовилась к собаке. К пятому уроку вообще половина класса рассосалась, но я терпел. И к шестому терпел, когда вообще почти никого не осталось. Упорство должно присутствовать. А потом, я обещал Костроминой. Не сегодня, а раньше, давно. А еще этот энтропик утрешний у меня перед глазами стоял. К.б. страшно все-таки, не хочется выйти в аут, помни об ауте, аут рядом, протяни руку.

После шестого урока поспешил домой и лег в гроб. Шучу. В кровать я лег и лежал там до вечера. До собаки Костроминой.

## **Глава 2** **Человек среди нас**

И лежал там до вечера. Старался не думать, но не получалось, энтропик, проклятый энтропик не отпускал.

Энтропики привязчивые, как прицепятся, так думаешь о них, думаешь, аут рядом, помни об ауте...

Я к.б. не люблю энтропиков. Больше, чем остальные вокруг. У меня сестра была. Старшая. Как-то раз утром поднялся, а она, смотрю, у окна сидит, по подоконнику пальцем водит, по пластику скребет, скребет. Я подошел: «Доброе утро», — говорю, а она на меня и не поглядела. А я тогда еще маленький был, дурачок, не понял, что происходит. Родители на работе как раз, они вообще почти всегда на работе, за окном дождь, в комнате полумгла, а сестра сидит, пластик из окна выковыривает. Ну, я зубы полирнул и в школу побежал. А вечером...

Энтропия — страшная штука. Незлечимая. Безднадежная. Аут, аут. Ничего с ней не поделать, как ни кричи. Потому что так. Нам ничего не хочется. Я когда читаю старые книжки про таких, как мы, я всегда смеюсь. Как бы. К.б. смеюсь.

Там нас так описывают...

В тех книгах мы умные. Гораздо умней людей. Ученые, мыслители, мудрые, пропускающие время сквозь пальцы, Сократы и Спинозы каждый второй.

Властные, честолюбивые, то войну организуем, то империю построим какую. Холодный мрамор Эллады, ярость Спарты, сталь легионов Рима, золото Византии, это все мы, мы, стоящие чуть в тени от тронов, серые кардиналы, вдохновители старой клячи Истории, алхимики Предназначения.

Те, кто обходит ряды над пропастью во ржи.

Творческие, это само собой. Все сплошь художники, композиторы, писатели, в театре играем, скульптуры высекаем из мрамора. Безвестные поэты, авторы запрещенных трактатов и новых философий, остерегающих мир от падения.

Атланты, все еще держащие отяжелевшее небо.

Так мы изображены в романах. А некоторые из нас в этих романах даже любят. Грациозные красавцы, обуреваемые необузданными, как океан, страстями. Томные бледные красавицы, коварные, неотразимые и роковые Клеопатры...

Вот это уж совсем бред. Собака может плакать, может смеяться, и любить тоже, наверное, может, кошки могут, даже

попугаи. Не исключено, что даже крысы, не знаю. Мы — нет. Мы не можем.

Любить. Бояться. Смеяться. Ничего.

Ничего нет. Ничего не хочется. Как бы.

Нельзя хотеть, если у тебя нет того, что, собственно, и хочет. Души. А я уже говорил — без души тело приходит в прах. Рассыпается. Сначала катаракта — такая синеватая пленка на глазах... А потом они вообще зарастают. Пальцы на руках, затем и сами руки, и ноги, все слипается, как теплый пластилин, а через несколько дней...

Прах.

Сестра обернулась ко мне, а на глазах пленка. Глаза сделались голубые, а я тогда и не понял.

Из школы я побежал на Набережную дразнить рыбаков и до темноты кидал в воду камни. Рыбаки были отвратительно терпеливы, и сколько я ни старался, я не мог вывести их из себя. Вернулся домой уже вечером. Сестра все еще сидела в комнате. Я спросил у нее что-то, но она молчала. Тогда я включил свет и повернул сестру к себе.

У нее уже не было лица. Ни глаз, ни рта, ни носа, поздно что-то делать, мертвая маска гладкой толстой пленки, покрывшей голову, вытолкнувшей волосы, которые лежали на подоконнике неопрятными лохмами.

Следующим утром мы ее похоронили. Отец и мать стояли и смотрели, мать терла глаза луком, отец щипал себя за ноздрю. Они хотели заплакать, но ничего не получалось.

Потом я узнал про энтропию больше. Что она накапливается день за днем, собирается в клетках, собирается в мозгу и может выплеснуться неожиданно, в один момент, как усталость металла. И в этот момент ломается и без того чудовищный гормональный баланс, и резко разрастаются соединительные ткани, утолщается кожа, меняется структура кальция в костях, все, распад, аут, причем взрывом, за несколько минут...

Ладно.

Вечером Костромина получала права. Она уже давно похвалялась, только не верил никто. Я тоже не верил, если

честно, Костромина слыла известной вруньей, еще с детства, к.б. выдумщицей.

То рассказывала, что случайно узнала секрет левитации, это несложно, при определенном упорстве за полгода можно выучиться взлетать к потолку. А когда желающих нашлось почти дюжина, объявила, что СЭС запретила ей проводить тренировки ввиду их сверхэффективности. Потому что всем, кто осваивал искусство левитации, приходилось носить с собой пудовые гири — иначе их немедленно уносило в стратосферу.

То сочиняла про то, что дядя прислал ей из Австралии сушеную кикимору, и если эту кикимору правильно размочить уксусом и укропным маслом, она оживет и будет верно служить своему оживителю до гроба. Мы опять поверили и ходили смотреть на кикимору, но, как оказалось, лицедреть ее можно только сквозь особые густо-зеленые очки, через которые ни черта, если честно, видно не было.

Много чего еще Костромина рассказывала, сразу и не вспомнишь. Я уже научился отличать правду от вранья, а другие вот нет, верили и иногда через это претерпевали неприятности и ущемления.

А еще как-то раз Костромина наврала, что Рышард Погробиньский — ее прямой родственник, только тут уж никто, само собой, вообще не поверил.

Лично я ей не то что на собаку, на хомячка прав не выписал бы. Точно. Несмотря на то, что мне Костромина к.б. нравится и все такое. Как-то зоопарк к нам привозили, ну, ничего, пошли с экскурсией, считается, что зоопарки от энтропии здорово помогают. На самом деле, кстати, помогают, жаль, что мало их у нас. Так вот, в зоопарке, все как полагается, выдали нам маски, объяснили, феромонами побрызгали, стали смотреть. Так от Костроминой животные даже через маску шарахались. Даже от Лужицкого не шарахались, даже от Сиракузовых нет, а от нее — да. Животных ведь не проведешь, они чувуют.

Вообще, животные нас не любят, что, конечно же, понятно. Я их понимаю. Заяц не может любить волка. Я могу представить, что бы чувствовал заяц, вокруг клетки которого бродила бы стая волков. Вряд ли бы он стал радоваться. А

Костромина... Она, видимо, волк в квадрате. Тигр, тигр. Костромина может испугать кого угодно, она и меня к.б. пугает. Но вот на собаку Костроминой права почему-то выдали.

Взяли и выдали.

Из-за упорства, я так думаю. Костромина особенно уперта, в дедушку, наверное, он в одиночку переплыл вокруг света на надувной лодке, три года на это потратил. Вероятно, Костроминой передались его гены. Только потомственно упорный человек может в нашем возрасте получить права на собаку.

Когда год назад к нам в класс пришел инструктор-кинолог, многие записались. Еще бы. Иметь кошку или собаку — это престижно, это означает, что ты можешь ужиться с теплокровным, это значит, что в твоём сердце не полный холод.

Это значит, что до аута тебе еще далеко.

Раньше у многих людей жили кошки или собаки, про это все знают. И хотят заводить. Но это не так просто, как раньше. Сейчас для этого надо пройти обучение, годичные курсы. Обучение бесплатное, но посещать приходится каждый день почти. Чтобы рефлексы наработать. И у себя, и у животного. Ну, и для того, чтобы доказать свою непоколебимость.

Сиракузовы тоже вот записались, оба брата, и Карп, и Марк, Кукульканов Михаил из старших классов, еще другие ребята. Но дольше недели никто не вытерпел, бросили. А я даже записываться не стал, я вообще к.б. ленив, по телику до второй серии не могу дотянуть, какая мне собака? Мне бы черепаху, хотя, наверное, я и с черепахой не справился бы. Я бы все время думал о том, что она думает... С ума сойти можно. Да и вообще, мне бы не оуклиться, это да, в аут бы не вывалиться, какая уж мне черепаха.

А Костромина ходила и ходила на эти курсы. Каждый вечер. Ходила, конспектировала, вникала, как кормить, как гладить, как выгуливать, как лечить, как ухаживать, все дела. Упертая Костромина. К.б. целеустремленная девушка, очень серьезная.

Собака тоже училась. Собаки вообще-то переносят нас гораздо хуже, чем остальные животные. Это потому, что они уже тысячелетия с человеком рядом, они чувствуют тигра,

чувствуют зло. Но если долго стараться, то и медведя прыгать с парашютом можно выучить. Так что привыкают и собаки. Тоже где-то за год-полтора. Не все, конечно, некоторые собаки не склонны к компромиссам, но большинство да.

И вот год минул, и теперь в торжественной обстановке выдавали права. Троим. Какому-то совсем уж замшелому вупу, кажется, в музее он работал, ровесник Грюнвальдской битвы, заслуженный вурдалак Евразии. Решил под старость лет собаку себе завести, чтобы не одиноко было коротать бесконечные вечера, чтобы дома пахло хоть какой-то жизнью, чтобы утром пес приносит тапочки и требовал корма. Такой древний дракула, давно пора в колбу, а он все пыжится. Три года учился, между прочим, никак не мог запомнить, сколько раз псинку в день кормить и сколько выгуливать. Но как-то одолел, тоже, наверное, из упорных.

Кроме старого вупа еще одна пиявка получала, на вид тоже лет сто, не меньше, от древности кожа на черепе трескается, а туда же. Вот этой я бы точно права не давал. Она, видите ли, кошечку завести решила. Так она на эту кошечку так поглядывала, что сразу все ясно было: не заживется кошечка на этом свете. Хотя, может, и ошибаюсь.

Ну и наша отличница Костромина была третьей, кому курсы удалось закончить.

Собрались в клубе, сели в кресла, музыка заиграла, конфетти посыпалось, праздничное настроение к.б., фейерверк загорелся. Стали приглашать на сцену любителей животных.

Первого старика вызвали, он оказался Цукеркиным, хотя на вид и не скажешь. Вышел этот вурдалак на сцену, ну, все собравшиеся давай хлопать — так ведь у людей принято. Хлопают, стараются, зубами щелкают, он кланяется с заметным скрипом в пояснице, точно из дерева его выстругали, а он взял да и размок. Душераздирающее зрелище, одним словом, ха-ха, если бы кто нормальный увидел, надорвался бы от смеха.

Потом на сцену вылезла такая унылая распорядительская вурдалачиха, руками помахала, все, значит, хватит хлопать, потолок обрушится. Все остановились, а старик прочувственную речь произнес.

Что, мол, не чаял даже и дожить до такого счастья. Что его мама с детства мечтала, а потом и он с детства мечтал, страстно тянулся, а все не получалось — животных было слишком мало, буквально единицы, не всякий простой вупырь мог себе позволить. Но спасибо Всеобщему департаменту, который заботится об утлых суденышках нашей безрадостной жизни...

Ну, и так далее, с положенным по ситуации драматизмом. Даже слезу под конец изобразил, вроде как потекла. Платочек достал, вытирать стал. Тут все собравшиеся тоже — достали платки и стали вытираться, и я с ними. А как по-другому? Момент же трогательный, надо, значит, плакать, классики так прямо и рекомендуют. Справа от меня целое семейство сидело, муж, жена, два пацана, так отец пузырек достал — и им всем даже слезы вбрызнул, ну, чтобы уж совсем по-настоящему выглядело.

Другие втихоря себя по носам стали лупить, и у некоторых даже получилось — выжали по слезине, молодцы.

У меня ничего не получилось, конечно, а этот старый вуп смог и радость изобразить — ура, крикнул, братцы, жизнь налаживается! Глядишь, доживем до того светлого дня, когда и нам солнышко посветит.

Все одобрительно загудели. Я тоже загудел, а что? Я тоже надеюсь, я как все.

Потом выступала кошатница. Сказала она почти то же, что и старый вуп, только еще улыбалась все время. Совершенно, между прочим, зря, клыки у нее были сто лет не чищенные и длинные, как у моржа.

Но ей тоже хлопали. И рыдали. Так полагается, никуда не деться.

Последней на сцену поднялась Костромина. Она была сегодня ничего, красивая. Поговаривали, что ей отец купил весьма недешевые алмазные зуборезы, так что Костромина выглядела аккуратно и прилично, почти как человек. Алмазные зуборезы — это тебе не болгарка, это вещь, тонкая механика, эффективная.

Костромина немножко покривлялась на сцене и тоже стала рассказывать, как она с детства мечтала да как ее мама

мечтала, да как еще ее бабушка мечтала, короче, все мечтали, а повезло одной ей. И она оправдает и не посрамит и высоко поднимет знамя...

Далее последовала процедура умиления, а затем не мешкая приступили к клятве, потому что интерес публики стал стремительно угасать, еще бы чуть, и пришлось бы гематоген разбрасывать. Получающие права клялись содержать животное в сытости, в чистоте, холить его, лелеять и обеспечивать безопасность. Старый вуп, не менее старая вупиха и Костромина, они все торжественно проговорили свои клятвы, расписались в гроссбухе, фальшиво прослезились. И им выдали права. Самих животных выдавали на следующий день, в целях предосторожности, чтобы хозяева от энтузиазма не задушили их раньше времени.

Все.

Вечер закончился, и все потащились домой. Я провожал Костромину, нам по пути, не то чтобы провожал, просто плелся рядом и не очень понимал, зачем меня было на весь этот цирк заманивать.

Шел обычный вечерний дождь, и Костромина достала яркий зонтик, хотя понятно было, что от дождя ей ни жарко ни холодно. Но с зонтиком правильнее. Раскрыла и сразу стала приставать ко мне — чтобы я этот зонтик тащил.

— Надо, чтобы все как у людей. — Костромина тыкала меня в бок локтем. — Девочка идет, а джентльмен несет зонт. Так принято, ты же понимаешь? Или ты не понимаешь?

— Понимаю.

Я взял зонт, в конце концов, мы не вупыри закладбищенские, культуру в общих чертах знаем. Зонтик оказался тяжеловат для подобного изделия, приглядевшись, я обнаружил декоративные свинцовые утяжелители — Костромина не искала легких путей, это тоже было вполне в ее духе — свинцовый зонтик.

Это качество мне в ней тоже нравилось. Нацеленность на преодоление трудностей. У нас ведь с трудностями особо не принято бороться, много сил на это уходит, а их и так негусто. К.б. душевных. То есть энергетических. А с энергией у нас сложности, хотя у Костроминой ее и больше, чем у меня, так и

энтропатологи говорят... Хотя я, кажется, уже это говорил, да, свинцовый дождь со свинцовым звуком падал на свинцовый зонтик, мы со свинцовыми лицами шагали по тротуару.

— Ты знаешь, что в досуговом центре открылась новая секция? — спросила Костромина. — Очень оригинальная, новое направление.

— Кружок цепеллинов? — к.б. без энтузиазма спросил я.

Дурацкое занятие. Садись в цепеллин и катаешься туда-сюда над городом. И все это время тебя тошнит, тошнит, тошнит. Считается, что это возвышает. Чем дальше от земли, чем меньше тяготение, тем легче душе, так считают многие. А я от высоты не в восторге, от одного вида цепеллина меня начинает мутить.

— Нет, не цепеллин, — покачала головой Костромина. — Кстати, тебе на цепеллин не помешало бы походить, полет — это очень похоже на жизнь, так и в книгах пишут.

— Нет уж, спасибо, мне одного раза хватило, — ответил я.

Мне действительно одного раза хватило, сдуру записался тогда, послушал Костромину. И сделал ведь все, как учили, и мышцы расслабил, и глаза закрыл, а вот едва над крышами поднялись, как началось. Даже глаза не открывал, вниз не смотрел, не ужасался. Просто почувствовал пустоту под собой, и мне мгновенно стало плохо. Очень то есть плохо, никогда так не было, просто вывернуло, пришлось потом желудок чуть ли не плоскогубцами заправлять. Потом меня с этого цепелина пришлось отскрести, я так в него впился, что не мог отпустить целый час. А уж посмотреть вниз меня вообще никто заставить не мог.

И вообще, ничего человеческого в этих полетах нет, я в этом вполне убедился, человек должен по земле ходить, он вам не мышшь летучая, и не надо на всяких там Лилиенталей кивать, сдается мне, не правы они были, заблуждались трагически.

А еще я на икебану записывался, ничего, интересно, в икебане мне понравилось, только непонятно — зачем все это? Это, кстати, большой вопрос — зачем? Говорят, половина аутов от того происходит, что вупы начинают задавать себе вопрос

«зачем». То есть зачем жить дальше, если и дальше все будет так же?

— Мне не понравились прыжки, — сказал я. — Бессмысленная вещь, лучше уж икебана. Можно научиться составлять букеты из чертополоха...

— Икебану закрыли, — перебила меня Костромина. — От нее одно расстройство было, сам знаешь.

Ну да, расстройство. Сложно составлять цветочки, один букет соберешь, пятнадцать в кашу. Именно поэтому я и ушел, не мог цветы давить. Конечно, до настоящих цветов нас вообще не допускали, но и бумажные жалко. Я слышал, потом пробовали букеты из пластиковых цветов составлять, а потом и вовсе из жестяных, они ломались все-таки поменьше. Но это совсем не то ведь, ненастоящие цветы, а из бумаги — почти как настоящие...

С другой стороны, мы тоже ненастоящие, чего уж там.

— Не прыжки, не икебана, а соулбилдинг, — сказала Костромина поучительно.

— Что? — переспросил я.

— Соулбилдинг. Ты что, английский совсем не учишь?

— Да нет, учу. Но сложно, сама понимаешь, слова другие, правила разные... Непонятно.

— Так... — Костромина остановилась и поглядела на меня. — Что такое соулбилдинг, ты не знаешь?

— Знаю... — Я опустил свинцовый зонтик.

— И что там делают? — Костромина поглядела на меня с таким прищуром, что ресницы опять едва не отвалились. — На соулбилдинге? Давай, расскажи, дружочек.

И экзамены она тоже любит устраивать. Особенно мне.

— На соулбилдинге тренируют душу, — сказал я неуверенно.

Не очень уверенно.

— Строят душу, — строго поправила меня Костромина. — Укрепляют душу. А некоторые и формируют. Так вот.

Строят душу, понятно. Вот сейчас вспомнил, есть такое, соулбилдинг, точно, вспомнил. Смотрят фильмы старые, стихи вслух читают, психодрама всякая. Идут, допустим, к реке, один с моста прыгает и тонуть начинает, спасите-помогите, кричит,

бьет конечностями и погибает практически, а остальные его к.б. все дружно спасают. Ну, или по очереди спасают, развивают эмпатию.

Рисуют еще. Городские пейзажи в основном. Кое-кто и портреты пробует, без толку только, портреты у нас не получаются. В ненависти упражняются. Это, кстати, особенно сложно. Изобразить легко, ну, там, глаза выпучить, зубами поклацать, порычать, это пожалуйста. А поненавидеть... Тут много способов. Например, делают из папье-маше фигурки вредных исторических деятелей, а потом их ненавидят, иголками тычут. Говорят, эффективно.

В жалости опять же упражняются. В ветеринарную клинику едут, старых животных жалеют. Смотрят и жалеют, смотрят и жалеют.

Раньше это по-другому называлось, анимация, кажется, а сегодня вот соулбилдинг. Новые технологии, гипноз, нейросудорожная терапия, полостное форсирование. А все это к тому, что есть такая теория: если душу нельзя обрести, то надо постараться ее сконструировать. Сложить, как пазлы. Стараться, главное, надо. Будешь стараться, стараться, и потом количество вдруг раз — и перейдет в качество. Как энтропия, только наоборот. Вроде как ни у кого пока не получалось, но многие верят. Деньги даже на это выделяются, программы специальные, вот и у нас, видимо, тоже.

— Много народа записалось? — спросил я.

— Нет, конечно. Мало. А тренер, между прочим, из самой Москвы приехал, все показывает, все рассказывает.

— Что, тренер, типа, крутой вуп?

— Крутой. Вообще крутой, как ты любишь говорить.

Такое делает — вздрогнешь.

— Например? — к.б. ехидно спросил я.

— Например, плачет.

Костромина похлопала глазами.

— Ага, знаю, как они все плачут. Возьмут, воды себе накапают — и как бы плачут, плакальцы, ага.

Или уксуса. Или лимонного сока. Да мало ли способов.

— Нет. — Костромина даже остановилась. — Он настоящему плачет.

— Правда? — я не очень-то верил.

— Правда. Плачет. Говорит, что два года тренировался, что любой, в принципе, может плакать.

Тут я обнаружил, что опять совсем опустил зонтик и что Костромина теперь тоже плачет. Во всяком случае, текло из глаз весьма натурально. Дождь. Снег должен уже быть, зима, а дождь, ручейки по щекам, как в книгах почти.

— Правильный тренер, — сказала Костромина. — Компетентный.

— Да, — согласился я, чего мне спорить.

— Он способ подсказал, как надо, — сказала Костромина. — Берешь, придумываешь самое жалостливое событие в своей жизни — и плачешь. Можно себя сиротой, например, представить.

Я быстро представил себя сиротой и никакой жалости не почувствовал, ни к себе, ни к родителям. Ну, сирота, да, жизнь не удалась. Представил себя под мостом, в тоске, в... Все.

— Вот смотри.

Костромина замерла, закрыла глаза, сосредоточилась. Напряглась, задрожала...

И пять минут дрожала, не меньше, но ничего так и не смогла из себя выдать, плохо себя сиротой представляла, наверное.

— Не получается. — Костромина сделала к.б. разочарование. — Но я только два раза ходила...

Кажется, она расстроилась к.б. Понятно. У Костроминой требовательное отношение к себе.

— Плакать — это что, — сказал я скептически. — Вот под нами живут Лапины, так у них дед в колбе уже сто с лишним лет сидит. И как его достают проветривать, он плачет каждый раз, говорит — когда я сдохну, а, внучки? Крупными такими слезами при этом плачет, с брусничину каждая слезина. Вот смеяться — это да, это сложно.

— Александр Иосифович и смеяться умеет, — сообщила Костромина. — Причем до слез. Он говорит, в Москве уже все так умеют.

Я не знал, что сказать. Москва нас всегда опережает, тамошние вупы самые продвинутые, тут уж ничего не скажешь. Вот и смеются даже до слез.

— В смехе вы там тоже упражняетесь? — спросил я.

— А как же. Кино смотрим, там в нужных местах смеются. И мы вместе смеемся. Очень удобно и понятно. А у кого смеяться не получается, тому электростимуляторы цепляют. Кстати, я уже немного научилась.

— Чему научилась? — не понял я.

— Смеяться.

И Костромина продемонстрировала.

Смеяться у нее получалось еще хуже, чем плакать. Ужасно, если честно. Совсем ужасно. Похоже на аппарат, который старые машины в металлическую стружку корезит, и звук такой же, и вид тоже чем-то напоминает.

Я представил себе картину: десяток курсантов сидят в зале, смотрят комедию, смеются. Скрежещут то есть. И последние тараканы в ужасе разбегаются по сусекам. Они ведь по сусекам разбегаются?

— Ладно, нормально, — остановил я этот кошмар. — Хватит.

Костромина перестала хохотать, сомкнула челюсти, перестала слепить меня своими роскошными зубищами, а я собрался с наглостью и спросил:

— Костромина, вот меня всегда такой вопрос интересует: что ты так надрываешься, а? Ради чего?

Костромина поглядела на меня испытующе — никому не скажу? Бойся, что засмеют, ха-ха. А может, сглазить бойся, ха-ха.

— Да не скажу, — пообещал я. — Не скажу. Я никогда и ничего, ты же знаешь. — Я вообще-то не болтун, это правда. — Ради чего? — повторил я.

— Ради мороженого, — ответила Костромина.

— Ради чего?! — не поверил я.

— Ради мороженого. Хочу попробовать мороженое, что непонятного?

Через дорогу и через дождь сияли неоновой синевой «Продукты». Я кивнул и указал пальцем.

— Зачем? — спросила Костромина.  
— Пойдем, попробуем. Ты же хотела.  
— Издеваешься? — спросила Костромина. — Там же только гематоген!

С какой-то даже человеческой обидой, видимо, этот душевный билдинг для нее даром не проходил. Во всяком случае, симуляция удачная, я даже подумал: а может, мне тоже записаться? Все-таки тренер из Москвы, до нас из Москвы редко кто доезжает, сложный случай. Хотя нет, в прошлом месяце народный коллектив из Москвы привозили, разные танцы представляли, вертелись как могли, ножики в пол втыкали, в принципе, интересно. Не люди, конечно, но все равно интересно. Интересно, когда нелюди стараются.

Поэт из Москвы был. Из зала говорили разные слова, например, «рельсы», «лайка», «парашют», а он тут же стихи сочинял, вот такие, например:

Продольны рельсы, упрямы шпалы  
И лает лайка, и крут маршрут  
И шепчуг губы мои устало:  
«Храни меня, мой парашют».

Здорово, одним словом, вот так, прямо с ходу стихи сочинить. Я помню, как-то раз Костромина было к стихам попробовала подступить, только у нее ничего не получилось, хотя взялась она серьезно, вздохнул. Теорию изучала, практику, читала классиков, переводы. Потом сама начала пробовать, целую тетрадку исписала квадратным почерком, долго почитать мне не давала, а потом все-таки не удержалась, принесла вечером тетрадку. Я прочитал уже вечером.

Собака сломала ногу  
Чините скорее дорогу

Это было лучшее, это сама Костромина сказала, признавая, что со стихами у нее не получилось. Вообще, свою неудачу Костромина перенесла стойко, сказала, что такое и с великими приключалось, не в этот раз, так в другой сочинится,

таланту надо как следует вызреть. Так вот с поэзией получилось.

Кстати, после поэта террариум сразу приезжал. Он вообще тоже приезжает часто, инсектариум два раза был, тоже к.б. весело, кузнечики прыгают, тарантулы. Братья Сиракузовы тогда ночью пролезли, украли яйца тарантула и высидели в инкубаторе, до сих пор к ним в гости никто не торопится. Не то чтобы бояться, просто неприятно, когда тебе за шиворот что-то сползает.

А больше всего мне вот бабочкарий понравился, передвижной, разумеется. Там такая комната была, в которой можно сидеть на стуле, а бабочки на тебя опускаются. Причем там такие непростые бабочки, а у каждой на крыльях буква алфавита. И если повезет, то буквы эти сложатся в слово. У меня, честно говоря, никакого слова не прочиталось. А Костромина вот сказала, что у нее слово «сон» получилось, но вполне может быть, что она и врала, как обычно. Хорошо в бабочкарии, только жаль, всего по десять минут каждому можно, а желающих там посидеть больше, чем времени. Бабочки не какие-то там фаланги...

— Эй! — Костромина постучала меня по голове кулаком.  
— Бум-бум! Ты куда делся?

— Я здесь.

— Ты что-то про мороженое говорил.

— Да... Мороженое можно попробовать... То есть оно там есть, в «Продуктах».

— Издеваешься? — повторила Костромина.

Ну да, похоже на издевку, разумеется. Попробовать мороженое можно, сколько угодно, в тех же «Продуктах» можно хоть сейчас взять килограмм, сесть на мокрую скамейку и сжевать. Только смысл? Все равно вкуса нет. Никакого. Даже холода и то не почувствуешь. Только губы закоченеют, вот и весь эффект. Так просто резиновые, а после мороженого дубовые, вот и все. Вот и весь вкус. Нет, если выжрать бутылку уксуса, то легкое пощипывание языка, разумеется, ощутишь, а вот мороженое...

— Если ты издеваешься... — Костромина начала мрачнеть и смурнеть. — Если...

— Просто забыл, — сказал я. — Извини. Извини, у меня плохая память, ты же знаешь.

Костромина к.б. успокоилась.

— Ничего, — сказала она. — Это ты меня извини. Я просто давно хочу мороженого. Очень давно. Чтобы только настоящему, понимаешь? И Новый год хочу.

— Что? — не расслышал я.

— Новый год, праздник. Чтобы елку нарядить, игрушки, гирлянды.

— Гирлянды?

— Огоньки такие электрические.

Праздник. И электрические огоньки.

— Праздник...

Это когда всем весело.

— Праздник, — кивнула Кострома. — Фейерверк, песни все поют, танцуют. Радость. Слушай, а там ведь раньше никакого мороженого не продавали... В «Продуктах».

— Вчера заходил, есть мороженое, — сказал я. — Пять сортов. Зеленое даже какое-то есть. И газировка, тоже разноцветная. И даже пирожные. То есть печенье, пирожные быстро портятся.

— Зачем?

Я пожал плечами. Раньше там только гематоген был, правда, трех видов, твердый, жидкий и с ореховым вкусом. Меня со всех тошнит, с ореха тоже. Говорят, что, возможно, скоро начнут гематоген без вкуса делать, тогда, может, можно его будет есть без отвращения. Хотя отвращение тоже чувство. Всегда только отвращение...

— Не знаю я, зачем все это завезли, — сказал я. — Может...

Я не смог придумать, для чего. Одно дело террариум, другое дело — мороженое. На пауков смотреть как-то разумнее.

— А я, кажется, знаю. — Костромина улыбнулась.

Костромина всезнайка. Лучшая ученица, и читает много, и думает. Мыслительный аппарат у нее хороший. И воля к жизни... Я уже говорил.

— И для чего здесь мороженое?

— Не скажу, — ухмыльнулась Костромина. — Не скажу, а сам ты не догадаешься никогда.

Это точно.

— Ясно, — кивнул я. — Ладно. Слушай, а собаку-то тебе когда выдадут? Завтра?

— Ага. С утра пойду.

Я хотел тоже попроситься, но, честно говоря, думал, что Костромина меня сама пригласит. А она не собиралась, кажется. Странно — на получение прав позвала, а на саму собаку... Ладно. Собака — это, наверное, очень личное, ее с посторонними не стоит забирать, собака может перепугаться, сбежать. Все равно могла бы... Надо было что-то сказать ей, но я не знал, что правильнее. Вспомнил, что Кострома космос любила, и я спросил про Марс.

— Про Марс слыхала?

— Слышала, конечно, — ответила Костромина. — А ты что, в космонавты решил поступить?

— Я? В космонавты? Да ну этих космонавтов...

— Зря. Надо стремиться, ты же знаешь.

Она указала в небо, в дождь.

— Все равно нас не пускают, — зевнул я.

Это точно, нас не пускают пока. С одной стороны, конечно, удобно вроде, и даже очень. Можно не особо заботиться о защите от радиации и прочего космического вреда, ни еды, ни воды брать с собой не требуется, воздуха мало, отапливать, только чтобы секреция не встала совсем, что чрезвычайно облегчает дальние исследования. Да и на Марсе тоже удобно. Теоретически можно даже скафандров не использовать, обернулся фольгой, взял баллончик, и бегай три года. Сплошные то есть плюсы.

С другой стороны, имелся и негативный опыт. Очевидные плюсы при столкновении с реалиями космоса не выглядели уже так очевидно, особенно на фоне минусов. Опять энтропия, конечно. В космосе она особенно зверствует, видимо, из-за пустоты. Одна пустота притягивается к другой. Несколько экспедиций с участием в-астронавтов закончились печально — из девяти исследователей в нормальном состоянии на Землю вернулся только один. Остальные окуклились, выпали в

глубокий аут, причем космический аут был гораздо быстротечнее и жестче земного.

Да и психологически это тоже для нас непросто — какой вуп согласится десять лет тренироваться для того, чтобы год лететь в одну сторону, год в другую и год скакать по пыльным красным равнинам? И непонятно, во имя чего. И с риском впасть в энтропию. Так что вакансии в отряд космонавтов для нас закрыты, можно и не пытаться. Хотя раньше, я читал, кажется, все мальчишки мечтали стать космонавтами...

Вообще в теории быть космонавтом, конечно, неплохо.

Космонавты находятся в небывалых условиях — вокруг всегда люди. Люди, люди, только люди. Люди — они во всей науке, а в космической отрасли особенно — там все слишком сложно, там только самые лучшие из людей могут. И когда ты окружен людьми, к тебе тоже как к человеку все относятся.

Как к человеку, а не как к какому-то вупырю паршивому, замшелому и заскорузлому, интеллигенция, одним словом. Так что я думаю. Ну, в космонавты.

— Воду на Марсе вроде как нашли, — сказала Костромина.

— Да, — подтвердил я. — Точно.

— Корабль собираются строить, «Черный принц» называется. Самый быстрый, самый мощный. На нем по всей Солнечной системе летать можно будет. А может, и дальше.

— А чего название такое мрачное? — спросил я.

— Название романтическое. Это такой английский король, когда его невесту убили, он дал обет не жениться и всю жизнь ходил в черном. Всю жизнь ее ждал.

— С того света, что ли? — спросил я.

— Идиот. Он ждал, пока их души не сольются в вечном празднике.

Костромина постучала меня по голове.

— Понятно, — сказал я. — А при чем тут корабль?

— Корабли всегда в честь выдающихся личностей называют. Это очень почетно, если твоим именем назовут. Впрочем, твоим не назовут, можешь не переживать. Так вот, первым рейсом этот корабль на Марс полетит. Воду нашли —

теперь базу надо строить. Человечество должно идти вперед. Если оно не идет вперед, оно окукливается...

Костромина поглядела в небо, туда, где за километрами промокшей атмосферы висел Марс. Я тоже поглядел. Конечно, ничего, кроме дождя, мы не увидели. А Костромина прочитала стихи, я не запомнил, какие, про космос что-то. Полетел один к инопланетянам, влюбился в инопланетянку, плюнул на все, стал жить-поживать да добра наживать. Кострома вообще много читает, стихи заучивает, на Марс хочет. Как водится. Соулбилдинг.

А я не хочу, я как все, мне бы сесть в уголочек, глаза закрыть...

— Не спать, закиснешь! — Костромина отвесила мне подзатыльник, изрядный, зубы клацнули. — Аут идет за тобой! Бойся аута! Возврата нет!

Не закиснуть сложно. Весьма. Надо стараться, надо держать себя в руках, это...

— Не спать! — Костромина отвесила мне еще один профилактический шлепок. — Не спать, не спать, не спать!

— Я не сплю...

Да я вообще не сплю.

Дождь разжигился. Из проливной фазы переключился на водную кашу, холодный пар, проникающий всюду. А мы уже почти дошли до ее дома.

— Да, самая главная новость — чуть не забыла...

Костромина похлопала ресницами, представляя дуру и кокетку. Я ждал. И даже представил к.б. интерес — совершил лицом мимические движения, долженствующие изображать удивление.

— Мы победили в конкурсе, — сказала она.

— В каком еще?

— Опять забыл, что ли?

Забыл. Я все забываю, это просто беда. Говорят, что скоро запустят новые батончики, усовершенствованные, с витаминами, улучшающими память. Память — это, кстати, одна из причин того, что мы никак не поднимемся. Плохо помним. Все, что произошло вчера, позавчера. Интересно, соулбилдинг память развивает? Какая цивилизация без памяти...

— В каком конкурсе? — осторожно спросил я, не хотел, чтобы Костромина еще раз меня треснула.

— В каком?! — к.б. поразила Костромина. — В человеческом! На человека! Ну, Полено, ты меня поражаешь!

И тут я вспомнил.

Что наша школа, впрочем, как и другие школы региона, боролась за человека. В рамках программы «Человек среди нас». То есть чтобы к нам человека прислали, в нашем классе чтобы он учился. Это большая честь, многие человека только по телевизору видели, а тут в классе! И вот, оказывается, мы победили. А я не знал...

— Я тебе, Полено, говорила, чтобы не спал, — с назиданием сказала Кострома. — Главную новость едва не проворонил. Скажи мне спасибо.

— Спасибо...

— Пожалуйста. Все очень удачно складывается. Я получила права на собаку, мы выиграла конкурс — здорово. Вот представь, я человека в гости приглашу, мороженым, допустим, угостить, он придет, а у меня собака. Как у всех нормальных...

У Костроминой потекла тушь. По правой щеке черным таким разливом. Костромина выхватила зеркало, поглядела, растерла рукавом, отчего стало еще хуже — чернота распространилась на половину лица.

— Все, не хочу тебя больше сегодня видеть. — Костромина отвернулась. — На, возьми, почитай это.

Костромина сунула мне брошюру, свернутую в трубку. Я взял, раскрыл...

— Дома, болван, всю книжку испортишь! — Костромина стукнула меня в очередной раз. — Все, марш!

Я спрятал брошюру под плащ и побежал к себе. Не перепрыгивая через лужи.

Родителей, как всегда, не было, я включил свет, зажег тепловую пушку, разогнал туман по углам комнаты и немного почитал. Это было «Введение в soulbuilding».

Ничего так, научно. Концепция стройная вроде. Опять же на авторитетов ссылаются — И. Лойола, Достоевский, Л.

Толстой, Дж. Вейдер. А вначале Погробиньского проклинают, все как полагается.

Интересно.

К.б.

### Глава 3 Коллектор

Во вторник была уже совсем моя отработка, от которой отвертеться было никак. Нет, то есть можно было просто не пойти, но это было неправильно, надо было приискивать причину, а не придумывалось, хоть тресни, ничего, так что ничего не оставалось, как обрабатывать.

Я отправился в школу на два часа раньше. По улице имени легчика Васильева, потом по Праздничной, потом на Радужную. Но радуги тут сейчас не было, она появляется лишь к полудню, когда солнце все-таки пробивается через тучи, его можно увидеть через мутные закопченные стекла. Сейчас никакой радуги, конечно.

Изобилия народа на улице не наблюдалось, несколько одиноких утренних фигур. Некоторых я узнал — они тоже ползли в сторону школы, другие просто стояли, взрослые тоже встречались, тоже стояли. На асфальте валялось несколько искореженных велосипедов и почему-то телефонные справочники. Они размокли от дождя и стали похожи на кашу, или на странные грибы, или на щупальца существ, пытавшихся выбраться из подземного мира, их было много, они пугали к.б.

В середине улицы Радужной располагалась районная установка погоды, огромная и страшная, похожая на адский завод по производству несчастья. Напротив погодной машины чернела липовая аллея с чугунными скамейками, я сел. Над модуляторами Чижевского висел зеленоватый туман, на решетках реакторов сидели вороны, много, штук двести, не меньше, говорят, что вороны впадают от генераторов в эйфорию, некоторые так и сидят до тех пор, пока с голода не помирают. Или от счастья. Голодная смерть от счастья, одним словом.

Я достал из титанового футляра увеличительные очки и несколько минут наблюдал, как с решеток срываются и улетают в небо серебристые корпускулы. Не знаю, наверное, это красиво. Точно красиво. Некоторые тут сутками сидят, как вороны, смотрят, смотрят. Я как-то тоже почти день просидел, следил за искрами, о чем-то думал, спокойно так было...

Но сегодня нельзя долго сидеть, сегодня отработка, надо собраться с силами и пойти...

Одна ворона, видимо, умерла. Во всяком случае, оторвалась от решетки и упала с глухим звуком. Остальные не каркнули. Я подумал, что все-таки пора, поднялся и двинулся в сторону школы и услышал, как еще одна ворона упала. Интересно, куда их девают? Вряд ли они там так и лежат. Хотя кто его знает, может, они, пока сидят, изнутри все иссыхают. От счастья.

Возле Запрудной увидел Костромину, она бодро шагала в сторону коллектора, вприпрыжку почти, я с трудом ее догнал. Вчера ее в школе не было весь день, мне очень хотелось к ней пойти, но я не решался. Собирался два раза, то есть почти три, но не собрался.

А сама она, конечно, не зашла.

— Сегодня должны официально объявить, — сказала она.  
— Про Свету.

— Про какую Свету? — не понял я.

— Ее зовут Света. Человек. Она приезжает через три месяца, я же тебе говорила. Опять забыл? Будет учиться у нас.

— Света... Она что, девчонка, что ли?

Костромина восторженно кивнула. Я понял, что она прекрасно все знала. Знала, что человек будет девчонкой. Забавно.

— Здорово, — сказал я.

Хотя я не очень понимал, что тут особо восхитительного, для меня эта Света совсем не была девчонкой, или парнем, она была ЧЕЛОВЕКОМ, вот и все.

— Это не здорово, это великолепно. — Костромина взглянула на меня оценивающе. — То, что человек — девушка, это просто удача. Чего молчишь?

— Удача, — согласился я. — Просто праздник.

Я всегда с ней соглашаюсь. Кострома — она умная, ей это даже энтропист из поликлиники сказал, Костроме видней.

— Просто праздник, — передразнила меня Костромина.  
— Что ты такой вялый, Поленов? Так ты со своей вялостью и до энтропии докатишься. Смотри у меня.

Костромина сплюнула через плечо.

— Нет, я на самом деле рад...

— Рад... Вижу, как рад. Про соулбилдинг, что ли, не читал, не знаешь, как правильно радоваться? А ну-ка порадуйся.

Я порадовался. Все как полагается: улыбнулся, посмеялся, похлопал в ладоши, пошевелил глазами.

— Ладно, пойдет, — сказала Костромина. — Вообще-то паршиво, но пойдет. Наверное, ты не безнадежен. А почему ты меня не спрашиваешь?

— Про что? — не понял я.

— Про что... — У Костроминой присутствовало дразнильное настроение. — Не про что, а про кого. Про Кузю, конечно.

— Про какого Прокузю?

— Кузя — это моя собака, — сказала Костромина с достоинством. — Или ты и это забыл? Позавчера выдавали права, вчера с утра я ходила в департамент и взяла Кузю. Ты что, забыл все-таки? Если забыл, я подарю тебе блокнот...

— Нет, что ты, не забыл. Как Кузя?

Костромина стала рассказывать про Кузю. Какой он умный, какая у него шерсть, как он весело лает на прохожих из окна, как он ее защищает, какой Кузя славный и милый.

Я слушал. Я почему-то представлял, что Кузя будет другой. Большой. Размерный такой пес, с хорошим прикусом и длинной шерстью, мне кажется, ей подошел бы ирландский волкодав, такая собака как раз бы Костроминой подошла — мрачная, злобная, сильная. Или ротвейлер. На крайний случай овчарка немецкая. Но, судя по рассказу Костромы, Кузя был мал и требовал заботы. И Костромина рассказывала про то, как она заботилась о нем весь вчерашний день. Это было очень интересно, Костромина трещала до самой школы, остановилась только на крыльце. Я поглядел на нее. Я знал, что это все не настоящему...

Но Костромина старалась изо всех сил.

— Ладно, — выдохнула она. — Что у нас там сегодня по расписанию? Коллектор, значит?

Сегодня был коллектор. У нас с Костроминой свой участок, мы разбираем его уже почти два года и уже несколько продвинулись.

Наша школа построена на месте областного медиаутилизатора, собственно, даже не на месте, а прямо над ним, так часто делали, потому что удобно. Класс прикреплен к восемнадцатому сектору, а мы с Костроминой заведем в этом секторе четвертым блоком. Костромина этим гордится, она говорит, что человек должен гордиться своей работой, это правильно.

А я как-то не горжусь.

Переодевшись, мы спустились на технический этаж и направились к месту работы. Блок похож на трубу. Диаметр пять метров. Глубина неизвестна, одни говорят, тридцать метров, другие, что чуть ли не сто, мы не измеряли, а никакой информации об этом не нашлось. Братья Сиракузовы всерьез утверждали, что их блок вообще бездонный, говорили, что их дядя проверял блок георадаром и тот дна не показал. Ходили слухи, что все трубы коллектора ведут в огромную подземную полость, до которой мы рано или поздно докопаемся. Лет через пятьдесят. А за три года мы раскопали метров семь, немало, в нашем классе это рекорд. И в школе почти рекорд.

— Интересно все-таки, что там на дне? — спросила, как всегда, Костромина.

— Какая разница? Все равно мы не успеем докопаться. То есть школу раньше закончим.

Я тоже думал, что там. И никогда придумать не мог. В огромную полость особо не верил, верил в дно. Точно, там дно, вот и все.

— Дно там, — сказал я и спрыгнул вниз.

Воткнулся в книги почти по пояс. Через секунду рядом воткнулась Костромина. Некоторое время мы так и торчали, собираясь с силами. Костромина считала вслух, а я не считал, просто торчал, сдавленный книгами прежних лет.

— Сто, — сказала Костромина. — Теперь мы будем энергично работать.

— Да, — сказал я.

Мы взялись за энергичную работу.

В нашем блоке в основном книги. Когда началось... Вернее, когда закончилось... Даже не так.

Когда осознали, во что мы все вляпались, народ очень рассердился.

Все книжки, все фильмы, компьютеры, короче, все, до чего могли дотянуться, собирали. Дед рассказывал, что прямо в окна выбрасывали, а по улицам шли бульдозеры, сгребали в грузовики и вывозили за город. Сначала жгли, само собой, костры были чуть ли не до неба, черный от пепла снег шел, все вообще черное было. Потом опомнились, конечно, поняли, что сгребли и нормальное, и поганое, без разбора, и оказалось все вперемешку. Тогда разделять времени не нашлось, других хлопот немало возникло, вот все добро по коллекторам и раскидали.

Они раскидали, а мы теперь разбираем который год, зерна в мелкую банку, плевела — в мусоросжигатель. В измельчитель то есть, бумагу надо беречь. Конечно, никакого недостатка в древесине у нас не наблюдается, но с деревообрабатывающей промышленностью проблемы. Финляндия до сих пор в развалинах, а они по древесине главными считались. Поэтому макулатура — ценный ресурс. И в коллекторах ее еще надолго хватит. Мы эти коллекторы сто лет почти разбираем, только разобрать никак не можем. Не хватает сил.

— Один вуп в соседнем городе тоже вот так в коллекторе сидел, — сказал я. — И ему на спину прилипла страница из журнала про садоводство, а он не заметил. Пока домой шел, весь промок под дождем и страница тоже размокла, он прямо так спать и завалился.

— И что?

— На следующий день тоже не заметил, бумага и вросла. А на бумаге какая-то древняя плесень оказалась, из позапрошлого века, а то и еще раньше, может, и первобытная вообще. Одним словом, эта плесень его за неделю до позвоночника выела, а он и не заметил даже. Когда хватился,

было уже поздно. В антибиотики его опускали, в кислоту — все бесполезно, плесень его дожрала.

— Вранье, — хмыкнула Костромина. — На бумаге никакой плесени нет.

— Но я...

— Никакой плесени нет, — утвердительно повторила Костромина. — И нечего выдумывать. Ясно?

— Ясно, — согласился я.

— Бумага абсолютно безопасна, — повторила Костромина. — Абсолютно.

— Конечно.

Мы немного поработали. Костромина выбирала книги, передавала их мне, я рвал поперек и грузил в корзину. Молчали.

— С книгами работать еще ничего, — сказала Костромина. — А вот в соседнем городе раньше игрушечная фабрика работала. Когда гемоготика в моду входить стала, они на нее целиком переключились. И наваяли. Очень много то есть наделали. Пластмассовые клыки, резиновые маски, заводные челюсти, фигурки разные, игры настольные, куклы, амулеты. Там все коллекторы этим завалены, по горло. Вот ты прикинь, как там работать приходится? Во всей этой мерзости?

— Да уж, — соглашаюсь я. — Трудно.

Я на секунду представил, как действительно работать в таких коллекторах, и мне стало к.б. неприятно — одно дело сидеть по пояс в старых книжках, календарях и журналах, а совсем другое — в каучуковых клыкастых фигурках, которые при соприкосновении с кожей скрипят и воняют силиконом. Может, там свои преимущества имеются...

Да какие там преимущества? Нет, все-таки у нас еще ничего, неплохо. К тому же мы только разбираем книги, и иногда я их рву, а вот Сиракузовы их только рвут. Для разбирания они очень глупы и необразованны, не могут отличить «Воина ночи» от «Фиалки Калькутты», им что «Кровавый выходной», что «Царство проклятых», разницы не видят. Зато рвуны, конечно, хорошие — я сам видел, как Сиракузов-младший легко разорвал «Медицинскую энциклопедию». Вот и рвут.

— Я слышал, некоторые вупы в одном городе...

— Смотри-ка. — Костромина достала из вороха книг книгу. — Это «Пурпурная бабочка счастья», отличная штука. Я еще в начальной школе читала. Вот послушай. «Его глаза излучали необычное сияющее тепло, трепещущий от счастья Вольфганг обнял меня и привлек к себе, я почувствовала, как бьется его сердце...» По-моему, это прекрасно. Как ты думаешь?

— Прекрасно, — согласился я.

Костромина закрыла глаза.

Не знаю, трепещущий Вольфганг и необычайное тепло меня не очень вдохновляли, но Костроминой видней.

— Знаешь, может, я сама тоже такое напишу. Потом, конечно, не сейчас, сейчас мне надо набраться жизненного опыта. Когда... Потом. Это же красиво.

— Красиво, — согласился я. — Только...

— Да, стихи у меня не получились. — Костромина отшвырнула книжку. — Но стихи — это совсем другое. А роман у меня выйдет что надо. Вот ты «Аэлиту» читал?

— Нет, — признался я.

— Я так и знала. А зря. Это моя любимая книга. Там он на Земле, она на Марсе, между ними миллионы километров, и они никогда не встретятся... Восхитительно. Очень красиво и романтично.

— Да уж...

— Поленов, почему ты такой скучный? — Костромина открыла глаза, уставилась на меня.

Иногда она вот так на меня смотрит. Как бы внушая что-то. То есть она делала вид, что внушает, а я пытался угадать, что она мне хочет внушить... Сложно.

— Тебе не надоело вот так? — спросила она.

— Как?

— Так. Тупо. Однообразно. Ты сколько лет прожил и ничего не сделал. Как мокрица.

— Так ведь и не хочется ничего. Если бы хотелось, так я, может, и делал бы...

— А говоришь, не тупо. Это же... Это же ужас.

— А у тебя не тупо?

Я не разозлился. Так, к.б. Выхватил у Костромы «Пурпурную бабочку заката», не размахиваясь, швырнул

книжку вверх, через горловину коллектора. Кострома среагировала, рванулась автоматически за «Бабочкой», комбинезон треснул по шву, от лодыжки до запястья, и некоторая часть Костроминой оказалась снаружи.

Это было к.б. смешно, но я не рассмеялся. Костромина сделала вид, что застеснялась и быстренько вскарабкалась вверх, я остался один в трубе.

Не люблю сидеть один, да еще в колодце. Да еще в тишине. Это неприятно и опасно. Говорят, что в нашей школе в прошлом году трое обэнтропились вот так, в коллекторах, сидели, перебирали книжки, и все, куколки. А один, говорят, даже пророс сквозь книжки и превратился в кучу целлюлозы, так его даже вроде бы доставать не стали, залили сверху бетоном, и все, прах к праху. Не знаю, правда ли это, или сказки, но колодцы, залитые бетоном, встречаются, только в нашей школе их два, что в них — неизвестно, но некоторые утверждают, что там страшные вещи.

Страшные вещи.

Для любого человека мир, в котором мы живем, страшен. Вечные сумерки, вечный дождь, улицы с покореженными велосипедами, мокрицы на стенах, черви, вороны. И никакого никогда тебе солнца. И никто не смеется. И не радуется настоящему. Не плачет. Все только боятся, да и то не настоящему.

Я остался один, и в голову мне немедленно полезли неприятные мысли, мне совсем не хотелось думать о плохом, и, чтобы отвлечься от этих мыслей, я стал перебирать книги. Шла обычная вупырская скукотища. «Вампир, которого я любила», «Вампир, который любил меня», «Сумеречная любовь», «Ночной разбойник», «Академия Носферату», «Полуночная страсть», ну и все в том же духе, в черно-розовом. Про то, как мелкие девки решительно влюблялись в вампиров, а те тоже хороши, влюблялись, как идиоты, в мелких этих девок. И все страдали, роняли слезы и думали — жрать или не жрать.

Большую часть я рвал и забрасывал в корзину для уничтожения, кое-что оставлял — для обмена в книжной лавке, сплющивал и прятал в комбинезон, в специальный потайной карман для раритетов. В книжной лавке принимают

бладфикшн, за пятнадцать поганых книжек можно получить одну полезную, например, как делать поделки из бумаги, или про то, как построить телескоп, или как выращивать спаржу в домашних условиях. Так что бладфикшн тоже полезен бывает.

Хотя я, когда вижу такие книги, всегда смеюсь. Внутренне. То есть к.б. немного. Хочется мне всегда поглядеть в глаза этим писателям. То есть писательницам, почему-то кровавый трэш сочиняли преимущественно женщины. Вампиры, любовь, вампиры... Их бы сюда, в нашу шкуру, они бы узнали, что это значит — быть вурдалаком. Вуп не может любить. Никого. В том числе и себя. Он равнодушен и теплохладен до тошноты. И страдать не может. И удивляться, и... и вообще ничего. В этом-то вся и беда. Нельзя любить без души. А у нас души нет, она разорвана в клочья еще до рождения, и лишь маленькие кусочки теплятся, не позволяя скатиться в аут.

А все из-за них. Из-за глупых предков, которые рассердили Его своим бесконечным кривляньем. Своим заигрываньем со злом, жадностью своей и пороками. Слишком уж обременили они души свои мерзостью, и Господь усмехнулся и сказал: «Ага! Не цените, псы, свет мой — получите тьму мою».

Так дедушка рассказывал. Сидел, расплетал бороду и так нараспев рассказывал.

«Не цените, псы, свет мой — получите тьму мою». И тьма, разумеется, сошла.

Ну, а дальше... Дальше было делом техники. Через восемь лет на Земле не осталось почти ни одного человека. Одни упыри. Люди сохранились только на Новой Земле и на Лунной базе, но сидели тихо, наблюдая, чем дело закончится. А закончилось все печально. Если не сказать плачевно. Все начало рассыпаться. В буквальном и в переносном смысле этого слова. Потому что без души ничего не получается, даже самые простые вещи. Что говорить о сложных?

Без души вообще не жизнь, если честно, даже голод без души ощущается лишь первое время. Темно это. Страшно это.

Да если бы хоть страшно. Если бы хоть страх. Пустота. Бесконечность.

К.б.

Вупыри лет пятьдесят терпели. Смотрели, как под их бестолковыми руками рушится мир, грызли друг друга, грызли безо всякого удовольствия, оукливались, самосжигались, топились в океанских впадинах. А потом те, кто остался и мог еще хоть чуть соображать, взмолились: вернитесь! Люди! Вернитесь! Не получается у нас. Помилуйте нас, тварей бесполезных! Правда, конечно же, без восклицательных знаков.

Но люди боялись. Не хотели в этот вурдалачник возвращаться. А кто бы захотел? После той бойни, после восьми лет крови возвращаться не думал никто. Тогда вупы вот что придумали. Сказали: если не вернетесь, то мы все прыгнем в Этну. В вулкан на Сицилии. И будем прыгать, и прыгать, и прыгать. До тех пор, пока вы не прилетите. Если надо, все прыгнем.

Дед мой тоже там был. Они тогда почти со всего мира собрались, почти целиком весь остров заняли, стояли почти друг на друге.

Выстроились в очередь и давай прыгать. Полтора месяца прыгали. Один вупырь в минуту. Прыгали, прыгали, прыгали, и утром, и днем, и ночью. И каждый перед прыжком просил прощения. Дед говорит, что до него совсем уже немного осталось, он был готов прыгнуть, ничуть не сомневался...

Но ему повезло. Потому что люди вернулись.

Пожалели. Нас. Они ведь люди.

Вот такая «Полуночная страсть». Кстати, весьма популярная книжка, тираж семьдесят тысяч, целую рощу березовую загубили, молодцы.

Я порвал «Полуночную страсть» на четыре части и выкинул в корзину.

За страстью шли «Гонки с оборотнем» с соответствующими картинками — байкеры-оборотни на мотоциклах, а над ними в воздухе, соответственно, вампиры на кожистых крыльях. Редкостная, одним словом, дрянь, даже рвать не хотелось, просто скомкал и выкинул.

А потом вдруг попало «Разведение декоративных кроликов». В хорошем состоянии. Я обрадовался, хотел полезть

наверх, показать Костроминой, но тут увидел еще интереснее книжку.

«Душ на даче». Я сначала подумал, что это ошибка, что правильно называется «Душа на даче», просто буква стерлась. А сама книжка про то, как светло и спокойно душе на лоне природы и так далее. Но потом полистал и понял, что все-таки душ. Чтобы мыться. Как построить своими руками. И чтобы вода солнцем нагревалась и ей уже потом теплой мыться. Решил отдать Костроминой. Пусть отнесет на свой soulbuilding, может, им пригодится. Почему нет, собственно? Наверняка строительство душа на даче как-то способствует строительству души. Пусть и опосредованно, но все равно способствует.

По поводу души у всех разные мнения, кстати. Я вот тут «Введение в соулбилдинг» почитал, кое-что понял.

Одни, вот как Костромина и, видимо, ее коллеги по соулбилдингу, думают, что душу можно развить. Накачать то есть. Всякими душевными упражнениями. Как раньше мышцы качали, так можно и душу сейчас. Принцип тот же. Остановить катаболизм. Почему растет мышца? Потому что из-за нагрузок старые мышечные клетки перестают распадаться. Старые не распадаются, новые нарастают. Так и с душой. У каждого вупа душа все-таки есть, просто ее так мало, что иногда даже незаметно. И что самое страшное — даже эта самая малость стремится к распаду. И чтобы этот распад остановить и даже обернуть вспять, надо использовать определенные упражнения. Поливать цветы, смотреть мелодрамы и драмы, стараться испугаться, натирать луком глаза, улыбаться. Доказано, что если долго улыбаться — возникает обратный эффект — улучшается настроение. Так и с глазами. Если долго натирать их луком, то появляются слезы. А если будешь часто плакать сугубо физиологически, то рано или поздно тебе захочется заплакать и психологически. Все по науке. Еще сам Игناسий Лойола разработал целый комплекс тренировок, призывал стяжать духовные богатства при любой возможности, то есть фактически делать то же самое, что соулбилдеры.

И в зеркало надо регулярно смотреться, кстати. Каждый день, регулярно, по несколько раз. Сама Костромина зеркало в сумочке все время носит, что-то там у себя на лице

подправляет, только понять, отражается она на самом деле или только изображает, я до сих пор не могу.

А вообще вуп далеко не всегда себя в зеркале видит, я уже говорил. Лик существа без души безобразен даже для него самого. Поэтому мы плохо отражаемся. Сфотографироваться — это пожалуйста, сколько угодно, а в зеркале... А ты все равно смотри, советуют душебилдеры. И увидишь.

Костромина тоже все время истории рассказывает. Вот одна девочка у них в секции смотрела-смотрела — и увидела. А один старый вуп из Китая поместил себя в зеркальную комнату — куда не взглянешь — везде зеркала. Просидел в ней год — и научился себя определять. Метода, конечно, интересная, наверное, правильная, но год сидеть в зеркальной камере...

Я бы не высидел.

А кроме билдеров есть еще и прощенцы. Вот как мой дед, например. Он тоже считает, что наши души не пропали совсем. То есть Господь не испепелил их без остатка, а просто изъял на время. Потому что даже Он не в силах уничтожить душу, на это только сами мы способны. Изъял и поместил в особое хранилище вроде карантина — отсюда и бессмертие, а не из-за каких-то там дурацких микробов. И что рано или поздно Он нас простит. Люди ведь простили. А он их сваял по своему образу и подобию. К тому же именно на нас конкретно вины не так уж и много, мы все послерожденные, а значит, шанс есть. Надо только подождать. Ну и, конечно, не умножать зло. Оставить все как есть, ничего не делать, засесть в капсулы с кислотой и ждать, ждать. И рано или поздно прощение снизойдет. Свет рассеет тьму, воссияет солнце и все такое, мы выйдем из капсул, и все станет как раньше...

Я вот больше соулбилдерам почему-то верю.

Есть еще охотники. Они вроде как на Погробиньского охотятся, на того самого, что открыл проклятый склеп и был первым укушенным, от него и началось все падение. По преданию, сам носферату, разбуженный в склепе, был настолько древен, что не смог даже подняться на ноги, захлебнулся кровью и разложился в ржавую слизь, передав тем самым всю свою силу и все свое проклятие Погробиньскому, и тот стал первым. А когда первый будет повержен, то все пойдет

по-старому — если верить легенде. Старые вупы обратятся в прах, молодые станут людьми.

Я лично в это не верю. Сама история какая-то... Неправдивая. И потом, столько лет прошло, столетия, можно сказать, этого Погробиньского уже бы сорок раз отыскали и вбили бы ему осину промеж глаз. Но не нашли. А значит, не все так просто. Нельзя вернуть душу, вогнав серебряный кол в бледный лоб. Никакого прощения от этого не приключится.

Ну, и практицисты. Технари. Эти похожи на соулбилдеров, но верят в прощение. Они считают, что его надо заслужить делами. Восстанавливают церкви, наводят порядок везде, животных разводят и в леса выпускают, океаны очищают, людям помогают. Короче, надо работать, не сидеть сложа руки, не впадать в уныние — и все наладится. Они и в правительстве у нас, и в школе, и в хозяйстве. Так что мы все, в общем-то, практицисты. Работаем понемногу, стараемся, как получается.

Ждем.

Я сунул в заветный карман «Душ на даче» и увидел еще книгу.

Без обложки.

Это меня заинтриговало. Обычно у нас все книги в обложках — выкидывали ведь сразу из книжных магазинов и библиотек, времени отрывать обложки не было. А если книга попадает без обложки, то наверняка из чьей-то личной библиотеки.

Книжка была древняя совсем, бумага желтая и плотная, и буквы странные, толстенькие и с закорючками на конце. Но понятно все, читаемо. Про каких-то ламий. Кто такие ламии, я не представлял, мне почему-то показалось, что это что-то из области животноводства.

Я немного полистал — на каждой страничке внизу звездочка, наверху крестик с петелькой. Почитал немного.

«...обращения надлежит проделывать следующее:

- растираться мазью из икры золотистого тритона;
- пить сырую воду с надгробий праведников;
- питаться постепенно, чередуя длительные периоды

глада с такими же по длительности периодами, когда

потреблять следует лишь сушеных комаров, помет нетопырей и шерсть черного волка...»

Дальше страница была залита чернилами, причем так густо и старательно, что прочесть уничтоженное не представлялось возможным, только снизу было разборчиво:

«...условием же обратного обращения являются...»

Клякса. Жирная. Дальше.

«Ибо сила и душа живет в клыках, и их надлежит...»

Кажется, книжка была все-таки не про животноводство. Я собирался полистать дальше, но тут появилась тень.

— Что вы тут копаетесь? — послышалось сверху.

Я спрятал книгу, задрал голову.

Инга Сестрогоньевна Волошина, завуч, серьезная женщина.

— Что ты там прячешь? — спросила она.

— Книжку, — ответил я.

— Книжку, говоришь... А ну-ка, ползи сюда. С книжкой.

Я взял книжку в зубы и взобрался по лестнице, выскочил из цилиндра, предстал перед Волошиной.

Волошина была старым, опытным вупырем, работала в школе уже, наверное, лет семьдесят и являлась большим знатоком детских душ. Я ее побаивался. Да ее все побаивались. Вот и сейчас она посмотрела на меня сквозь длинные, поразительно бархатные для ее возраста искусственные ресницы и спросила:

— Какая у тебя там, говоришь, книжка?

— Книжка-то? Про животных. Как содержать, как кормить... Вот... «Вервольфы Зари».

— «Вервольфы Зари»? Ну-ка...

Я протянул ей книжку, но она оказалась в руках у Волошиной еще раньше, завуч ее уже листала и сомнительно хмыкала, пощелкивая ногтями.

— «Вервольфы Зари», значит... Так... Так, Поленов...

Много прочитал?

— Да нет, немного. Там про животных...

— А где Костромина? Вы же вместе работаете?

— У нее комбез порвался, — соврал я, — она за новым побежала, переодеться...

— Что вы за дети... — поморщилась Волошина. — Спецдежда на вас как горит...

— Мы не виноваты, — развел я руками. — Я давно говорил, что комбинезоны нужны кольчужные...

— Кольчужные... Послушай, Поленов, а ты книги воруешь? — спросила вдруг Инга Сестрогоньевна.

Я растерялся, что ответить, не знал, Инга Сестрогоньевна же посмотрела на меня с разыскательским прищуром.

Да у нас все воруют, подумаешь, секрет.

— Воруешь, признайся, — продолжила наседать она.

— Да ничего я не ворую, — вяло отнекивался я.

— Хорошо, если только воруешь, — вздохнула завуч. —

Тут многие воруют, все, наверное. В лавке меняют на правильную литературу. Но если вот ты еще стихи читаешь...

— Я не читаю, — перебил я. — Поганое читать запрещено, все об этом знают.

— Да, запрещено... — Завуч понюхала воздух. — Действительно...

— Я что, дурак? — спросил я. — В аут выпасть не хочу, у меня семья.

— Семья — это хорошо, — сказала Инга Сестрогоньевна. — Семья — это основа.

И еще раз понюхала. Подозрительно как-то. Ходили слухи, что у всех педагогов в педагогических целях удалены носовые мембраны. Чтобы они лучше чувствовали своих учеников. Поэтому больше двадцати лет в школе никто и не работает — нервная система не выдерживает даже у нас. Мозг перегружается.

— Ладно, Поленов, иди в учительскую. — Инга Сестрогоньевна подтолкнула меня в спину. — Поговорим там. Распустились...

— Но у нас сейчас занятия, — попытался возразить я.

— Какие занятия?! — к.б. разозлилась завуч. — В учительскую! Живо!

У учителей, кстати, очень хорошо получается симулировать эмоции. Так крикнут, что иногда веришь, что по-настоящему. Но и окукливаются они почему-то чаще остальных. Рискованная профессия. Уважаемая. Учителя все

слушаются, хоть обычный дворник, хоть из городской администрации кто.

Я понуро побрел в сторону раздевалки, но Волошина меня не отпустила, окликнула.

— Поленов, стой. Давай лучше действительно на занятия. Про это... — Она похлопала по книжке. — Про это лучше молчать. Понятно?

— Про что молчать-то?

Нет, я действительно не понимал, что произошло такого страшного, о чем следует молчать.

Инга Сестрогоньевна поглядела на меня с прищуром, блеснула красивыми педагогическими зубами.

— А ты не безнадёжен, — сказала она. — Вот уж не думала.

Инга Сестрогоньевна поправила парик.

— Я буду следить за тобой, Поленов. Понял?

— Понял, что ж непонятного.

— В класс. И поскорее.

Я поспешил медленным шагом.

Класс меня удивил. Внутри выглядело все совсем по-другому. Обычно у нас все расплываются по партам, лежат, как умирающие, и если взглянуть со стороны, то класс походит на полупустой ящик с подгнившими сливами. Или с полудохлыми осьминогами. Пахнет, кстати, тоже примерно так же, сливово-осьминожье.

А сейчас все было по-другому. Аккуратно, подтянуто, как-то осмысленно. Даже Сиракузовы, отличавшиеся особой сливообразностью и осьминогopodobием, и то как-то собрались, сидели относительно ровно, похожие на фасолевые стручки. Кострома тоже уже на своем месте была, сидела со строгим видом, даже не посмотрела на меня. То есть пока я там в трубе барахтался, она потихонечку в класс проследовала. Ну и правильно, ну и молодец.

Я плюхнулся на парту рядом с ней, как всегда, стал смотреть в окно. Четыре минуты смотрел, на дождь, на пузыри по соседней крыше, на ворону, гуляющую по железу, потом в класс вошла Инга Сестрогоньевна, огляделась, прокашлялась громче, чем полагалось, и начала речь:

— Ребята! Я хочу объявить вам важное, чрезвычайно важное известие! Вы все прекрасно знаете, что наша школа долгое время боролась за высокое звание человеческой школы. То есть учебного заведения, где обучаются не только условно витальные, но и люди! Настоящие люди!

Подчеркнула Инга Сестрогоньевна для нас, условно витальных. Хорошее, кстати, название, лучше, чем другие.

— Создание таких школ стало возможно благодаря программе правительства «Человек среди нас», направленной на создание учебных заведений смешанного типа. Планируется, что постепенно, со временем, количество людей в нашей школе и других школах будет увеличиваться, что рано или поздно...

Завуч замолчала, набрала воздуха для правильных голосовых модуляций и продолжила:

— Рано или поздно все вернется на круги своя. Все будет как раньше. Мы все в этом не сомневаемся. Целых три года мы боролись за то, чтобы человек попал именно к нам! Мы боролись за высокие показатели в учебе, за высокую посещаемость, за поведение. За рост показателей общественной активности! И мы победили!

Завуч топнула ногой к.б. в восторге, под потолком качнулась лампа, на Ингу Сестрогоньевну осыпалась штукатурка. Осторожнее надо, школа не железная.

— Да, мы победили, — повторила она. — И теперь у нас будет учиться человек. Скажу более того, человек будет учиться в вашем классе!

Костромина взглянула на меня с выражением «я же говорила!».

— Но это не только большая честь — это еще и большая ответственность. Мы должны создать подходящие условия. Мы должны помнить, что человек — это человек. Он не похож на нас. Он хрупок и уязвим!

Костромина вздохнула к.б. с завистью, ей тоже хотелось быть хрупкой и уязвимой и чтобы вокруг нее создавали подходящие условия.

— Поэтому вы все должны вести себя соответственно! — продолжала Волошина. — Повысить степень ответственности!

Волошина набычилась, из-за плеч у нее выступил горб, казалось, что еще чуть — и из этого горба разойдутся крылья.

— Никаких резких движений! — Волошина погрозила пальцем. — Никаких глупых шуток! Поведение приличное! Ответственность! Дисциплина! Порядок!

У нас и так поведение приличное. Какое поведение может быть у ящика тухлых слив? Тухлое. Приличное.

Сверхприличное. Я думаю, что человека специально в наш класс определяют. Потому что мы спокойные. Самые спокойные. А вовсе не из-за того, что мы хорошо учимся или посещаемость там какая-то чудесная. Посещаемость у нас, кстати, напротив, низкая — и это, видимо, тоже в плюс: чем меньше вупов на квадратный метр, тем человеку спокойнее.

— Сиракузовы! — Инга Сестрогоньевна уставилась на братьев. — Я к вам обращаюсь, остолопы!

Сиракузовы окаменели.

— Вот так! — Завуч указала на них пальцем. — Все вы должны вести себя так же. Как они. Все берем пример с Сиракузовых! Ясно?!

— Ясно, — нестройно ответили мы все.

И стали брать пример с Сиракузовых. Одубенели. Только слышно, как парты железные скрипят, натужный такой скрип, безнадежный.

— Вот и отлично, — хлопнула в ладоши Волошина. — Очень скоро Света приедет.

На самом деле, значит, Света, Костромина не обманула. Света. Светлая, значит.

— Если хоть один из вас... — Инга Сестрогоньевна обвела взглядом класс. — Если хоть один посмотрит на Свету неправильно...

Она сжала кулаки так сильно, что брызнула кровь. Два маленьких фонтанчика. Это тоже педагогическое умение — для того, чтобы кровь вот так брызнула, ее нужно долго концентрировать в кулаках, собирать со всего организма, создавать давление. Если вот я сейчас сожму кулаки, сорву кожу и мясо, никакая кровь не брызнет, так, немного засочится только, и все. А у Инги Сестрогоньевны здорово, точно

помидоры раздавила. Чего уж говорить, Инга Сестрогоньевна заслуженный педагог, старый работник просвещения.

— Я думаю, мне не надо напоминать, что случается с теми, кто осмеливается смотреть на людей неправильно, — зловещим голосом сказала завуч. — Думаю, среди нас нет таких?

Мы недружно, но отрицательно промычали. Я вот вообще не мог представить себе такого.

— Я так и знала. Надеюсь, вы не разочаруете меня и весь педагогический коллектив. Кстати, у меня есть голографическая карта Светы, ознакомьтесь и запомните.

Волошина достала из сумочки футляр, вытряхнула из него голографическую картинку и запустила по рядам. Мы, конечно же, стали ее внимательнейшим образом рассматривать, Сиракузовы так и вообще сунулись в карточку вдвоем, громко стукнулись головами, замурчали, хотели друг на друга кинуться, но сразу замолчали. Потом Груббер, она уткнулась в карточку носом, мне показалось, что даже не столько уткнулась, сколько погрузилась туда и очень долго не хотела возвращаться, пришлось Инге Сестрогоньевне предупредительно кашлянуть.

После Груббер карточка прошла еще через несколько рук, так что ко мне она попала уже теплая, слегка поцарапанная и даже несколько помятая — Сиракузовы тискали ее, как ненормальные. Но стереоизображение все равно сохранилось, я особым образом скосил безрадостные свои глаза и увидел ее.

Свету.

Она шагнула мне навстречу, улыбнулась и помахала рукой. Красивая. Очень. Живая, мне даже показалось, что она не просто смотрит, а смотрит на меня, улыбается мне, как самому настоящему человеку...

— Поленов! — Костромина царапнула меня ногтем. — Ты что, Поленов, в аут вышел? Дай мне карточку!

Но я все смотрел. Смотрел в глаза Светы...

— Полено! — Костромина стукнула меня по голове. — Карточку гони!

Я передал фотографию, Костромина взяла бережно, кончиками пальцев, как настоящую старинную пластинку. Стала изучать. Я думал.

Света была похожа... Я не знаю, на кого. На человека, наверное, на нас не похожа совсем. Как будто светилась — недаром Света. И глаза другие. Спокойные, мягкие какие-то, песок из них не сыплется, как у нас...

Времена, конечно, меняются. Еще года три назад мы и подумать не могли о таком. О том, чтобы увидеть человека.

— Я же тебе говорила. — Костромина ткнула меня в плечо пальцем. — Я говорила, что она Света! Вот посмотри...

Но Сестрогоньевна уже рыкнула: «Передавайте карточку по рядам, Костромина, вы не одна такая...»

Кострома отдала карточку и молчала до самой перемены. А я все думал про Свету. Вернее, не про саму Свету, а про то, где она тут у нас расположится — у стены или у окна? Думал и не мог придумать никак, любое место мне казалось неправильным. И стулья, и столы, и окна у нас железные, и тяжелые лампы еще над головой — где здесь место для человека? Лампа может упасть на голову. Стальная парта слишком холодная. А в окна дует, этой зимой я построил флюгер из жести и приладил его к раме, и он крутился со свистом. Я уж не говорю про Сиракузских, на них находят, иногда один стучает другого по голове железным стулом, редко, но все же. А если под чугунный стул попадет Света? У нее здоровье наверняка расстроится, она ведь человек. И действительно надо вести себя осторожнее, всякое лишнее движение может человека поранить...

Одним словом, мысли меня непривычно обуревали вплоть до самой перемены, и ничего я так и не надумал, только тошно от себя самого сделалось, от своей мощи бесполезной, бессмысленной, мерзкой.

На перемене мы обычно бродим по коридору. Или на подоконнике сидим. Или у стены стоим с кривыми рожами. Костромина потащила к подоконнику, запрыгнула, достала из рюкзака термос, отхлебнула, зажмурилась к.б. от удовольствия.

— Ну как? — спросила она.

— Что как?

— Как тебе Света?

— Ничего.

Самый глупый ответ в истории, точно. Даже я это понял.

— Ничего?! — воскликнула Кострома к.б. разгневанно.

— Она просто красавица! Ты видел, как на нее смотрели все остальные?!

Честно говоря, я не заметил чего-то особенного.

Некоторые смотрели с интересом, кое-кто с испугом.

Большинство, пожалуй, даже с испугом. Им столько рассказывали о людях, что люди стали для них легендой.

А еще я подумал, что времена изменились, причём кардинально изменились. Раньше на нас смотрели с ужасом, раньше мы были воплощением ночного кошмара. А теперь наоборот. И детей тоже теперь совсем не нами пугают...

Вообще-то, наверное, это ужасно, когда тебя боятся.

Шарахаются, рассказывают про тебя страшные сказки.

Противно.

— Хлебни. — Костромина сунула мне термос. — Это какао. Шоколад такой.

— Знаю. Зачем хлебнуть?

Кострома притопнула ногой. Я отпил, что делать?

Какао был горячий, больше ничего сказать не могу.

Отхлебнул я хорошо. Вообще мы какао не пьем, зачем нам какао?

— Тебе Света хоть немного понравилась? — спросила Кострома осторожно.

— Понравилась? Наверное...

— Хорошо. Это очень хорошо, Поленов. Теперь скажи с воодушевлением.

— Зачем?

— Не рассуждай, а скажи. Скажи.

— Мне понравилась Света, — сказал я к.б. с воодушевлением.

— Нет. — Костромина со скрипом помотала головой. —

Не так. Постарайся, приложи силы, вспомни Свету!

Я вспомнил Свету и сказал:

— Мне понравилась Света.

Так, как только мог, собрав волю и счастье и улыбнувшись.

— Сейчас меня стошнит... — сказала Костромина. — Ладно, над этим мы еще поработаем. Звонок, кажется.

Звонка еще не случилось, но мы все знали, что он сейчас зазвонит, — я почувствовал, как в предвкушении задрожали медные молоточки, а Костромина, кажется, электричество в проводах услышала, она говорила, что иногда его слышит. Впрочем, это она могла вполне и врать.

Звонок.

Он дребезжал долго, бесконечную минуту. Это чтобы дошло до каждого.

После перемены началась астрономия, нам рассказывали про космос. Это очень важно, астрономия у нас четыре раза в неделю. Потому что астрономия зовет в будущее. Затем литература. Она в будущее не зовет, но делает мир красивее. За литературой математика, она тоже полезна, она структурирует ум. Только я ее никак не понимаю, ни алгебру, ни геометрию, математика для меня запредельна. У Костроминой лучше, но тоже не шибко. Математика требует воображения, у нас этого воображения нет. Увы.

С математики я сбежал, ушел то есть, почему-то домой решил пойти, и так слишком много сегодня. Пересек школьный двор, остановился на спортплощадке. Согнул турник, разогнул турник. Завязал турник узлом, развязал турник узлом. Вот и вся тебе физкультура.

Остаток дня прошел незаметно. За окном лил дождь. Я включил телевизор и почти минуту и семнадцать секунд смотрел передачу про французских художников, про то, как они мучались от непризнанности, болели и умирали, и тот, кто дольше всех продержался, тот и получил все блага, художник Клод Моне. Все это я узнал за минуту семнадцать секунд, после чего в телевизоре щелкнул таймер и изображение на сегодня пропало.

Телевизор смотреть вредно, это знают все. Поэтому в каждом телевизоре есть таймер, который отключает прибор через пятнадцать минут. Вроде бы некоторые умеют

перенастроить таймер, чтобы показывало не пятнадцать минут в день, а полчаса и больше. Но я не знаю как.

После телевизора я не делал ничего, сидел у окна, ждал, когда стемнеет окончательно. Когда стемнело, я зажег масляную горелку. Вообще-то хотел зажечь самодельную свечку, но она загорелась неправильно, не горела, а взрывалась, разбрасывая по сторонам парафиновые ошметки и куски горящего фитиля. Это уже третья свечка, которую я сделал, и третья, которая не горела. Свечку я хотел к Новому году смастерить, Костроминой в подарок. Разноцветную, с блестками, чтобы уют создавала, чтобы по-настоящему. Но никак не получалось подобрать состав парафина, каждый раз свечки взрывались и брызгались, хотя все было и по рецепту.

Потом я собирался пойти погулять, походить под дождем, может, заглянуть к Костроминой, все-таки хотелось поглядеть на ее собаку. Но дождь усилился, и я остался дома, сидел в углу, слышал, как где-то внизу воеет Лужицкий.

Скучно.

Никак.

## **Глава 4**

### **Планы**

На следующий день с утра я чувствовал себя как-то нехорошо. Тошнило. Нет, меня почти всегда тошнит, так, в фоновом режиме, так что уже почти и не замечаешь, но сейчас к привычной тошноте добавилось незнакомое. Я не мог понять, что, что-то в носу завелось вроде бы. Кажется, пульс. У нас пульс редко случается, когда сердце срабатывает раз в пять минут, тут уж пульса не дождешься, уснешь три раза. А здесь вдруг бах...

Зачесалось даже. Пришлось треснуть несколько раз по носу, ну, чтобы отпустило, чтобы отстало. Помогло. Перестарался, правда, нос расквасил, так, немного красного потекло, вытер полотенцем.

Время поджимало, стоило поторопиться. Поплелся в ванную. Включил зеркало. Зеркало у нас старое, плазма первого

поколения, себе на уме, задумчивое и страдает метеозависимостью и не любит новолуние.

Изображение частенько возвращается с небольшим запозданием, время отклика плавает, ноль—восемь, иногда больше случается. Поэтому отражается не то, что есть, а то, что было несколько мгновений назад. Тормознутое зеркало, короче, средние совсем века. Это очень неудобно, особенно когда зубы чистишь, но делать нечего.

Да и привык. Скорость света конечна, а значит, тьма будет вечной. Потому что во Вселенной всегда найдутся уголки, куда свет так никогда и не долетит. Так говорил Погробиньский, будь он четырежды проклят.

Я смотрел в зеркало на позапрошлого себя. Не очень веселое зрелище. У Костроминой вот зеркало хорошее, из новых, с авторегушером. То есть глядишь ты в него собственной персоной, а отражаешься уже перелицованный графическим процессором — красные белки убираются, тени под глазами размываются до общего тона, кожа не такая бледная и не такая зеленоватая.

А у нас старое зеркало, отражает, что есть на самом деле, а если еще лампы подсветки садятся, то и вообще...

Я выглядел паршиво, как обычно. Мерзко, прожильчато, синюшно. В общем, в пределах нормы, терпимо. Вот если синюшность уже с черным отливом, тогда стоит волноваться и растираться уксусом, а так терпимо пока.

Улыбнулся. Клыки за ночь отросли почти на полсантиметра. У меня быстро растут, беда с ними просто, каждый день приходится подпиливать, а щетки зубные больше месяца не держатся. Вот и сейчас — насадил щетку на левый клык, нажал на кнопку. Щетка вжикнула, завизжала металлически, задрожала, синий огонечек на ручке заморгал и погас. Сгорела. Цилиндрический ротор стерся, обычное дело, можно выкидывать. Швырнул щетку в ведро, посмотрел в ящике, запасной не нашлось.

Клыки упрямо торчали. Упирались в нижнюю губу, выставлялись. С клыками в школу не пустят, можно не надеяться. Ладно, делать нечего, придется по старинке. Открыл кладовку, взял болгарку.

Машину угловую шлифовальную, если правильно.

Болгаркой приходится периодически пользоваться, к сожалению. Это неудобно и опасно, в общем-то, если чуть рука соскочит, то можно полморды набок снести, потом месяц будешь с лохмотьями ходить, пока не регенерирует.

Болгарка так болгарка.

Улыбнулся мерзко, перехватил поудобнее инструмент, нажал на гашетку.

Ненавижу этот звук. Неприятно. Если поставить диск по дереву, то не так противно получается, но зато долго, минут десять приходится стачивать, и паленым пахнет даже через мембраны. Поэтому я не кривляюсь, ставлю сразу по железобетону, так и быстрее, и надежнее. Хотя голова болит, конечно, даже у меня болит.

Машинка завизжала сильнее, рука дрогнула, зуб срезало наполовину, под кривым неаккуратным углом. Не получилось. Из-за зеркала все, полсекунды задержки — и я промазал, не туда двинул. И из-за пульса — он с чего-то раскачался, кровь непривычно стучала в голову, отчего подрагивали руки. Я вытянул их перед собой и некоторое время пытался успокоиться, унять трясулку. Получалось плохо, руки дрожали.

Ругнулся, попробовал еще раз. Подрезать зубы надо, с неподрезанными зубами ты выглядишь окончательно...

Болгарка непослушно дернулась вверх.

Оп.

Несколько минут я смотрел на то, что получилось. Получилось страшно. И жалко. И отчаянно. Все вместе, страшно-отчаянно-жалко, как всегда. Вспомнил альбом в коллекторе, живопись, кубизм, там вот у всех людей такие лица, нет, все-таки искусство имеет большой прогностический эффект.

Я улыбнулся. Лучше бы не улыбался. Я смотрел на свое испорченное лицо и...

И ничего.

Оно и правильно, надо относиться к этому спокойно, ничего страшного не произошло, подумаешь, неудачно почистил зубы, бывает. Как говорили раньше, до свадьбы заживет.

Занялся другим зубом. Его сточил более-менее удачно. Прихватил, конечно, немного мяса, но не очень, в пределах нормы.

Разрезанную щеку зашил — на этот случай у меня специально припасена леска и набор сапожных иголок. Не очень эстетично, но надежно. К вечеру прихватит мясом, леску состригу. На всякий случай достал степлер и пробил восемь скобок, для укрепления. Замазываться не стал, не люблю. Некоторые швы гримом закладывают или пластырь наклеивают, а я нет, так и хожу. Вообще, заштопанные физиономии с утра совсем не редкость, у каждого пятого, наверное.

Так и живем.

Вернулся в комнату, оделся. Рубашка оказалась мятой, пришлось погладить, поскольку снимать было лень, да и времени совсем не оставалось, погладил на себе. Горячо, и плесень такого не любит.

Причесался. Обычно я парик не расчесываю, чего его расчесывать? Он у меня пластиковый, недорогой, зато термоустойчивый, ему как один раз придали правильную форму, так она уже четыре года и держится, и расчесывать надо только раз в месяц, да и то только для того, чтобы вычесать из волос мусор и всяких там жужелиц, решивших обосноваться в синтетической шевелюре. От жужелиц, кстати, есть дихлофос, только у меня кончился давно. Но я их топлю в скипидаре — вечером в ведро опускаешь, утром все передохли. Хотя, если честно, я давно уже парик не дезинфицировал и не расчесывал, так что сейчас он выглядит не очень хорошо. Ладно, вечером займусь по-хорошему.

Прихватил ранец и побежал. То есть пошел быстрым шагом.

Возле школы потрогал губу — заросло поверху. Вот и все, к.б. жив, почти здоров, вечером выдеру скобы.

На крытой скамейке возле крыльца школы сидела Костромина, демонстративно читала книжку. Ногу на ногу закинула, желтый пластиковый дождевик ломался нервными угловатыми линиями, шляпка красная, тоже пластиковая, корабликом, красиво, в соответствии.

— Привет, — сказал я. — Здравствуй.

— Привет, Поленов, привет, — не отрываясь от книги, буркнула Костромина. — Что-то ты плохо, как всегда, выглядишь, опять одежду на себе гладил?

— А что? — спросил я.

— А то. — Костромина захлопнула книжку. — Ужасно это, Поленов, никуда не годится. Рубашка к пузу приплавилась, волосы склеены, рожу распотрошил. Учю тебя, учю, а все без толку.

— Да ладно... — отмахнулся я. — Просто... У меня телевизор взорвался неудачно, стену вынесло, до трех ночи заделывал.

— Ты учишься врать, — констатировала Костромина. — Это хорошо. Конечно, с этической точки зрения, твое вранье омерзительно, но с точки зрения соулбилдинга... Ты растешь. Как с зеркалом? Отражаться не начал?

— Нет. То есть я, конечно, отражаюсь, но не стабильно. Условно отражаемый...

— Условно отраженный... — передразнила Костромина. — Тоскливо-протяженный. Уныло-напряженный. Забыто-раздраженный.

Соулбилдинг явно дает о себе знать. Костромина прогрессирует. Скоро стихи начнет сочинять.

— Беспечно...

— Что читаешь? — спросил я, чтобы сбить поток поэзии Костроминой. — Приличное что или из коллектора?

— «Рыцарь страсти». — Кострома продемонстрировала обложку.

Длинноволосый парень, похожий на идиота, обнимал красавицу в вечернем платье с обнаженными плечами. Тоже похожую на идиотку. И цветы на заднем фоне. Тоже на идиотов похожи, ну, вот примерно как Сиракузовы, только цветы. Из коллектора, само собой.

— Интересно? — спросил я. — Страсти кипят?

Кострома протянула мне размокшую книжку, я прочитал: «Она, взмахнув ресницами, открыла мокрые глаза и прижалась к его широкой груди всем своим трепещущим телом».

Что-то такое я, кажется, уже читал.

— Про любовь книжка, — сказала Костромина.  
— И что? — спросил я.  
— Ничего.  
— По-моему, ерунда, — неосторожно сказал я.  
— Ты просто в литературе ничего не понимаешь, — сказала Костромина. — Тот, кто чистит зубы циркулярной пилой, ничего не понимает в жизни. Башку когда-нибудь отпилишь.  
— Не отпилю, — отмахнулся я.  
— Отпилишь — степлером обратно не присандалишь. Без башки на что парик станешь клеить?  
— Ладно... — Я направился ко входу в школу, сделал вид, что к.б. обиделся.  
— Плохо получается, — оценила вслед Костромина. — Плохо, Полено, дрянь, не верю я, что ты обиделся. Кстати, как у тебя здоровье?  
— Ничего, только пульс участился... Давление поднялось, наверное.  
— Ну-ну, ковыляй давай.  
— А ты?  
— А я еще посижу. Там концентрация глупости слишком высокая, боюсь не выдержать. Иди-иди, и смотри мимо класса не промахнись.

Мимо класса я не промахнулся.

Возле окна неумно и неумело громко шептались братья Сиракузовы. Остальные мальчишки сидели как-то чересчур правильно, обычно все, кроме Беловоблова — у него сросшиеся шейные позвонки, расплываются по партам, как бесполезное и бессмысленное желе, а сейчас строго расположились, точно в корсетах. И я думаю, что это не из-за Инги Сестрогоньевны, не из-за ее указа, а так, по велению души. Хотелось всем быть. Даже галстуки двое надели, строгие, коричневые. А Рейнгольд Людинов и вообще в галстук вставил булавку в виде золотого кузнечика, дурачина. У меня тоже такая, кстати, есть, прадедушкина, раньше такие выпускникам выдавали.

А галстука у меня нет. Может, из старого пальто вырезать?

Девочки тоже изменились. Не все, конечно, но некоторые. Увалдина, Старцева, Груббер. Все надели непривычно яркие платья, Груббер так даже зеленое. И вроде как подкрасились. Хотя тут я не могу ручаться, может, под модификатор погоды попали — радужные цвета препятствуют энтропии, и иногда в модификатор добавляют красители, тогда идет разноцветный дождь.

Показалась Костромина.

Она сняла плащ, оказалось, что под ним старинное платье.

Я не очень хорошо в культуре разбирался, но мне показалось, что в таких платьях не прабабушки ходили, а еще прапрабабушки. Такого глубоко фиолетового цвета с загогулистыми золотыми огурцами, с искрами, с серебристой нитью по краю, очень нарядно, длиной до пяток. И Костроминой оно очень шло. На остальных девочках такое платье бы висело, вот как если бы обрядили скелеты в биологическом кабинете. А на Костроминой хорошо смотрелось. Умела она. Наверное, это из-за соулбилдинга, там, кажется, и одеваться еще учат.

И все на нее стали смотреть.

А Костромина немного покрасовалась и села за мной.

— Как себя чувствуешь? — спросил я. — В ранешнем?

— Нормально, — ответил Костромина. — Бабушкино платье достала, у нас сохранилось. Семейная реликвия. Пыль выбила, надела — и как новенькая.

— У нас тоже сохранилось что-то, если хочешь, принесу. Как собака Кузя?

— Все отлично. — Костромина поглядела на меня с превосходством. — Собака живет... То есть все хорошо, аппетит у него повышенный. Вот, с утра на собачью кухню бегала, консервы рыбные взяла, кормила.

— Рыбные — это для кошек, — сказал я. — Кошки любят рыбу. А собаки любят...

Собаки любят мясо. Кости. Печенье еще, кажется, сухари сахарные.

— Собаки любят колбасу, — авторитетно заявила Груббер в зеленом. — У нас была собака.

— И вы ее сожрали, — грустно закончил я.

Груббер растерянно замолчала, Костромина стукнула меня по голове. Кулаком. Правильно, глупость брякнул, молотком меня надо.

— У нас раньше была, сто пятьдесят лет назад, — оправдалась Груббер. — И никто ее не ел, она сама умерла.

— От голода, — закончил я.

Груббер хотела рассердиться, но у нее не получилось.

— Она не от голода умерла, она от старости умерла. Она уже ничего не ела в конце.

— А моя собака все любит, — сказала Костромина. — Что ни дашь, все ест, можно и не разогревать.

Но Груббер больше не хотела обсуждать собак, отвернулась и уставилась в стену.

— Так-то, — с превосходством сказала Костромина. — Так-то...

Костромина погляделась в зеркало, затем подседа ко мне и спросила шепотом:

— Кстати, ты знаешь, о чем там эти дураки Сиракузовы совещаются?

— Нет.

— Они на Свету впечатление хотят произвести.

— Да. Да?

Дураки. Впечатление на человека. Как же. Особенно Сиракузовы. Если бы они вместе взорвались, они бы и то впечатления на человека не произвели бы.

— Да. Света пойдет домой, а тут навстречу ей Сиракузов, вот тот, который справа. Идет себе этот Сиракузов, идет. А тут на него другой Сиракузов балкон бросит.

— Зачем? — не понял я.

— Для впечатления. Вот ты подумай. Идешь ты себе, идешь — и вдруг на Сиракузова падает балкон. Это же здорово выглядит. Ты бы поразился?

— Нет, — честно признался я.

Если бы на Сиракузова упал балкон, я бы только к.б. порадовался. Чему тут поражаться? Что я, не видел, как на кого-то балконы падают? Ничего интересного, обычные дела, практически будни. Конечно, лучше бы на Сиракузова упала

водонапорная башня. Или, если уж мечтать по полной программе, дроболитная. Старая дроболитная башня, в которой сейчас Музей металлургии, года два назад мы туда ходили с классом на экскурсию, очень много интересного узнал, правда, сейчас уже не помню. Зато сама башня на меня изрядное впечатление произвела, большая такая, солидная. Вот если бы такая башня упала на Сиракузова, он бы впечатлился, наверное. А еще лучше бы сразу на обоих упало по дроболитной башне, чпок — и нет Сиракузовых, зачем они?

— Я тоже не знаю, — сказала Костромина. — Вот если бы Сиракузовых замуровать перед школой по поясу, это бы Светлана могла заметить. Надо им сказать, пусть замуровываются, это свежо.

— Глупо, — не выдержала и тоже обернулась Груббер. — Вы говорите о разных глупостях.

Тоже удивительно. Обычно Груббер молчит все время, а тут что-то разговорилась.

— Так это не я хочу друг на друга балкон ронять, это Сиракузовы, — сказала Костромина. — Что с них взять, вообще? Они глупы.

Сиракузовы услышали и поглядели на нас одинаково равнодушно.

— Сиракузовы, вы дураки, — громко сказал я.

Раньше, в человеческие времена, мне за такие дела лицо бы расковыряли, а теперь ничего. Один Сиракузов, правда, сказал:

— Ты, Поленов, сам дурак.

Без особого энтузиазма. Но уже что-то, обычно они и не прореагировали бы, а тут огрызнулись. Забавно. Человек еще не прибыл, а духовный рост уже налицо.

— Он один дурак, а вы два дурака, — к.б. пошутила Костромина. — Вы в два раза глупее, поэтому и идеи у вас бредовые.

Сиракузовы отвернулись.

— Эти еще ничего, — зевнула Кострома. — Беловоблов еще хуже. Он со своим приятелем Кружкиным собирается спасти Свету от грузовика.

— Как это?

— Просто. — Костромина ухмыльнулась. — Кружкин поедет на грузовике как бы на Свету, а Беловоблов ее спасет. Оттолкнет в сторону, примет удар на себя.

— Зачем?

— Ты что, кина не видел? — заговорщически спросила Костромина. — Это же классика. Она все время с открытым ртом, он похож на... Короче, похож. Как здесь.

Она продемонстрировала «Рыцаря страсти».

Идиотический красавец на обложке томно смотрел вдаль.

— Кстати, тут тоже этот эпизод есть. — Костромина постучала по обложке пальцем. — Главная героиня ворон ловит, а тут бетономешалка без тормозов, и прямо на героиню несется. А тут главный герой как прыгнет. Короче, из-под самых колес выдернул, еле жива осталась.

— Все равно не пойму, — сказал я. — Зачем давить-то? Можно же и так, поговорить, кино посмотреть, мороженым угостить.

Костромина потерла лоб, поглядела на пальцы.

— А еще других дураком называет, — хмыкнула Груббер.

— Тут, Поленов, все просто, — стала объяснять

Костромина. — Это же все классика. Молодой и красивый...

Костромина поглядела на Беловоблова, махнула рукой, пусть так.

— Молодой вурдалак Беловоблов спасает человека Свету из-под несущегося грузовика. И, само собой, между ними возникает любовь.

— Из-за того, что он ее из-под грузовика спас? — уточнил я.

— Ну, да, — кивнула Костромина. — А как же еще? Так ведь у людей все и происходит. Почитай в любой книге, там все так и излагается, если не грузовик, так хулиганы нападают. А главный герой спасает. А ты что думал, любовь, что ли, на пустом месте заводится? Нет, Поленов, все сложно. А ты не изучаешь.

Хорошо. Интересно все у людей устроено, не то что у нас.

— А если не грузовиком ее давить, к примеру, а локомотивом? — спросил я совершенно серьезно. — Тогда,

наверное, любовь еще быстрее возникнет? Локомотив-то тяжелее. И едет быстрее.

Костромина пожала плечами.

— Наверняка сказать трудно, — сказала она. — Я в этом вопросе не очень хорошо разбираюсь, больше теоретически... Наверное, да. Если думать глубоко, то да, локомотивом сбивать надежнее.

— А где Беловоблов локомотив возьмет? — спросил я. — Железная дорога просто так локомотив не выдаст.

— Откуда я знаю?! — к.б. вспыхнула Костромина. — Это его проблемы. Пусть где хочет, там и берет, мне все равно.

— Да и мне тоже. Подумаешь...

— А тебе не должно быть все равно, — нахмурилась Костромина. — Ты должен переживать. Ты должен весь внутри переворачиваться.

Я представил, как это — переворачиваться внутри. Нехорошо, наверное. Гематогенно.

— Зачем?

— Нужно. Нужно, Поленов. Вот ты посмотри, все выворачиваются, все стараются, и только тебе все равно. А это плохо. Сиракузовы и то что-то придумывают, а ты...

Костромина поглядела на меня пронзительно. Кажется, линзы встала. Во всяком случае, раньше таких пронзительных взглядов она не совершала.

— Ты можешь постараться? — спросила она. — Хотя бы постараться, а?

— Могу, — сказал я. — Постараться могу, если тебе надо... Я могу.

— Вот и постарайся. Они Свету грузовиком будут давить, а ты... Ты...

— Тоже балконом, что ли? — неудачно пошутил я.

— Зачем балконом, по-другому, по человечески. Ну, она, допустим, тонуть станет...

— Это мост надо ломать, — перебил я. — Она пойдет, а мост подломится... Только мосты крепкие, придется их заранее подломить.

Костромина закатила глаза.

— А что? — я тоже к.б. обиделся. — Как я еще ее в реку закину?

— Не знаю. Только ты подумай уж, напряги мозг. Вот, например...

Тут Костромина заметила, что Груббер и Увальева стали слишком уж активно прислушиваться, ушками пошевеливать и делать вид, что им не интересно. Костромина тут же замолчала.

Урок начался, физика, тоже предмет, сложный к пониманию. Физик пришел и стал про какую-то дисперсию рассказывать, а мы стали послушно слушать. Я понять даже старался — что такое эта самая дисперсия. Физик старался, тыкал указкой в доску, а потом в портрет какого-то древнего физика на стене, но до меня ничего толком не доходило. А потом у меня у самого в голове случилась дисперсия, я куда-то провалился и очнулся только от звонка.

Началась очередная перемена, и все мы опять отправились бродить по коридорам, как бестолковые частицы, погруженные в дисперсию, и я отправился тоже бродить, как все, потолкался, наступая на посторонние ноги и чувствуя, как наступают мне. Я добрался до лестницы со второго на первый этаж и стал смотреть вниз, я тут часто стою зачем-то. Через минуту подошла Кострома с термосом на боку и тоже стала смотреть. Мы иногда вместе стоим и смотрим, тоже зачем-то.

— Слышь, Поленов, а ты чего вчера в коллекторе нашел? — шепотом спросила Костромина.

У нее шепот получался правильный, не то что у дураков Сиракузовых, даже шептать по-человечески не умеют.

— «Душ на даче», — честно признался я. — И еще про кроликов книжку. Как кроликов правильно разводить в неволе.

— Про кроликов? — Костромина сощурилась. — И ничего больше не читал?

— Нет...

Костромина сощурилась еще сильнее, так, что глаз у нее совсем не осталось, только щелки.

— Значит, ты ничего не читал, — продолжала Костромина.

Врать я совсем не умел. На соулбилдинг надо, наверное, все-таки походить.

— Вспомнил, — хлопнул себя по лбу. — Памяти никакой, ты же знаешь. Там еще книжка была, без обложки, просто страницы, и все.

— Без обложки книга? — Костромина стала шептать еще глуше.

— Ага, — подтвердил я. — Толстая такая, со старым шрифтом.

Костромина огляделась.

Поблизости никого, на лестницу не часто ходят, лестница узкая, можно запнуться, скатиться вниз и застрять в перилах, это у нас в школе не поощряется.

— Давай подробнее, — сказала Костромина. — Что там еще в этой книжке было?

— Шрифт старый, — принялся рассказывать я. — Буквы тоже старинно выглядят, бумага ломкая, а переплет хороший. Проститый такой, нитки... вроде красные.

— Красные нитки?

— Да. То есть они выцветшие. А на каждой странице маленькие картинки. Вот такие, размером с ноготь.

Я взял бумагу, взял свою титановую ручку и нарисовал крестик и звездочку, как мог, конечно, уродливо, коряво.

— Вот так, — сказал я. — Немного неровно, но... похоже.

— Это пентакль, а это ангх, — определила Кострома. — И то и другое — символ жизни. Очень интересная книжица тебе попала.

Костромина сжала пальцы на перилах, железо подалось, сохранив на себе отпечатки пальцев.

— А что там написано было, не помнишь? Конкретно?

Я попробовал вспомнить, но не получилось, конечно.

— Вспоминай. — Кострома перестала терзать перила и уставилась на меня красными глазищами. — Вспоминай, Поленов. Вспоминай. А то рассержусь на тебя сильно и больно. Вспоминай.

Я сел на ступеньки и стал вспоминать. Времени немного прошло, так что вспомнить у меня получилось. Я вызвал в памяти трубу, ощущение одиночества, Ингу Сестрогоньевну с ее придирками, вспомнил.

— Ибо сила и душа живет в клыках, и их... — сказал я. — Все, дальше не могу. Там еще про тритонов что-то... Тритонами надо растираться. Против хода солнца в обязательном порядке...

Костромина вздохнула к.б. сокрушенно.

— Дурак ты, Поленов, — сказала она. — Я тебе об этом тысячу раз говорила. Тебе «Сумеречные скрижали» попались, а ты их завучу отдал.

— Она забрала.

— Она забрала... — передразнила Костромина. — Вот и растирайся теперь тритонами. Болван ты, мой друг. Ну-ка повтори, что ты там вспомнил.

— Ибо сила и душа живет в клыках, и их надлежит... — вспомнил я еще раз. — Их надлежит. Все.

— Сам ты надлежит, — к.б. обиделась Кострома. — Лопух. Такой шанс упустил. Ладно, будем действовать наверняка и последовательно.

— Как?

Костромина не ответила, поболтала термосом.

— Ты пульс чувствовал? — спросила она.

— Ну, чувствовал... — признался я.

— И как?

— Никак. Не очень приятно. В носу свербит.

Костромина достала блокнотик, записала.

— Зачем записываешь?

— Может пригодиться... В носу, значит, свербит. Это хорошо.

— Что хорошего-то?

— Хорошо... Действуем научно. Влюбленный человек ощущает целый комплекс переживаний, в результате чего он плохо дышит и испытывает затруднения с сердцем.

— Зачем мне пульс? — Я потрогал себя за нос. — Зачем мне сбитое дыхание?

— Не сбитое, а неровное. Повышенное сердцебиение и перебои с дыханием — это первые признаки любви.

— Чьей? — не понял я.

— Чьей-чьей — твоей, конечно.

Я поглядел на Костромину совсем одуренно.

— Зачем мне любовь-то?

Костромина сунула мне какао. Что-то я ее совсем перестал понимать.

— Ты обещал, — к.б. гневно сказала Костромина. — Ты обещал, что будешь меня слушаться. Вот и слушайся. И без вопросов. Говорю пить — пей.

Я с сомнением побулькал шоколадом. Нет, мне, конечно, было все равно, просто...

— Ты чего, здоровье бережешь, что ли? — ехидно поинтересовалась Кострома.

Здоровье мне беречь было совсем ни к чему, я свинтил крышку и выпил. Шоколад был как шоколад, горький и сладкий, переслащенный в пять раз и перегорченный в восемь, наверное, Костромина бухнула туда перца. Хорошо хоть соляной кислоты не добавила. Чтобы я прочувствовал.

Да я и так прочувствовал: язык зажгло и в желудке образовался горячий ком — редкие ощущения.

— Молодец, — сказала Кострома. — Доза лошадиная, но по-другому нельзя, ты уж извини. Для неровного дыхания надо что-то поискать... Но это мои проблемы.

— Слушай, я не это... Не очень понимаю...

— А тебе и не надо понимать, Поленов. Ты делай то, что я говорю. А понимать я сама буду. Понял?

Я кивнул.

Вот и поразговаривали.

Сердце, оно забилося, как бешеное.

Три удара в минуту.

## **Глава 5**

### **Розовый грузовик любви**

Последним уроком была физкультура. Волейбол. Спорт трактористов и дровосеков.

Мы привычно вышли во двор, поделились на две команды, «Мертвечину» и «Труп старушки». Я, как обычно, попал в «Труп старушки». Играть никто, разумеется, не хотел, как обычно. Тренер Дмитрий Дорианович вяло пытался заразить нас спортивной живостью — подпрыгивал,

прихлопывал в ладоши, вопил кричалки и кричал вопилки. Бедняга. Учитель — сложная профессия.

Наш класс совсем не проявлял никакой активности, на физкультурную площадку вышло меньше половины, а играть еще меньше собиралось. Ни Костроминой, ни Груббер, ни остальных Сиракузовых вообще не наблюдалось, лишь Беловоблов выглянул из-за кучи металлолома и сразу скрылся. К спорту не тянулся никто.

ДД оставил все свои потуги и сказал, что в волейбол играть просто надо. Необходимо. Волейбол — любимая человеческая игра, так что вперед, играйте, скоты, играйте.

Мы стали играть, все, кто был способен.

Наш волейбол очень похож на тот, настоящий. Единственные отличия — сетка и мяч. Вместо сетки натягивается изрядный трос с колокольчиками, вместо мяча — чугунный шар. Думаю, весит килограммов сорок, ржавый и безобразный. Но нам как раз. «Мертвечина» против «Трупа старушки».

Дориан Дорианович дунул в свисток, подбросил мяч, и мы стали играть.

«Труп старушки» сначала проигрывал, потому что у противника был длинный Беловоблов — он все время ставил блоки и то и дело обрушивал тяжелое железо на территорию противника. Но во втором тайме я весьма удачно уронил мяч Беловоблову на ногу, нога хрустнула и сломалась в двух местах, отчего Беловоблов стал играть гораздо хуже. Этим мы незамедлительно воспользовались, во втором сете счет сравняли, а в третьем, наверное, даже вышли бы вперед, но один из Сиракузовых принял чугун на голову и переправил его в стену школы.

Шар с унылым звуком пробил кирпичную кладку, и ДД немедленно прекратил встречу, объявил, что боевая ничья, игра игрой, а школа может обвалиться, потом двадцать лет строить будут.

Мы согласились и отправились переодеваться и мыться в душе, а я думал.

Света наверняка глядела бы на все это с ужасом, на всю эту вупырскую физкультуру. Я заранее нашу будущую Свету

понимал. Она ведь никогда не видела вупов в таком количестве и в таком виде. Наверняка те, с кем она была знакома, старались себя как-то сдерживать, подковы не рвали, лом о шею не загибали, гириями в футбол не играли. Возможно, даже компенсаторные костюмы носили. Не то что мы.

А у нас вот так все. Уродливо. Со зверским усердием, чтобы вздрогнуло, чтобы стены рассыпались и небо содрогнулось от омерзения. Хотя оно и так уже давным-давно содрогнулось.

После физкультуры делать было совсем нечего, но домой расхотелось, и команда «Труп старушки» решила отправиться в овраг, посмотреть на кувшинки, у нас тут недалеко. Кувшинки так кувшинки, никто против не выступил, после чугунного волейбола кувшинки, наверное, неплохой выбор, сочетание бессмысленной силы с красотой. Костромина тоже пошла. В железный мяч она никогда не играла, считала, что это профанация спорта и надругательство над здравым смыслом. А против кувшинок Костромина ничего не имела, сказала, что кувшинки — очень красивые цветы, и каждый, кто намеревается хорошенько накачать душу, должен смотреть на кувшинки.

Зимой они, конечно, не цветут, но в овраге сбрасывают термостоки со станций погоды, там цветы даже зимой произрастают. И снег никогда не лежит, туман только клубится, теплый, пахнущий сероводородом.

Ну и пошли.

От нашей школы до оврага недалеко совсем, дорогу перейти — и овраг. Машин никаких не наблюдалось, да тут вообще редко кто ездит, я перепрыгнул через асфальт идиотским прыжком и стал дожидаться Костромину, которая вдруг решила изучать стену школы, наверное, в этой стене поселился какой-то красивый и полезный для души лишайник или, может, задумчивый камушек, аммонит, затесавшийся в бетонный раствор.

Остальные члены команды «Труп старушки» разбрелись по оврагу и погрузились в туман и кусты, спустились к ручью, журчащему по дну, а я все стоял и ждал Костромину, которая прилипла к стене.

Все было нормально, дождь, опять же, радовал, падал редкими каплями, между которыми можно было вполне протиснуться, я огляделся и почти сразу отыскал кувшинку и стал думать, что с ней делать — сорвать или оставить, обрадуется ли ей Костромина, или скажет, что я уничтожаю природу.

Кувшинку я все-таки не сорвал, а тут как раз началось вдруг.

Из-за угла школы выкатился грузовик. Старый, но вполне еще способный. Розовый. Вероятно, раньше он был красный, пожарный, но время и дожди произвели с ним эту предательскую перекраску. Грузовик остановился и принялся гудеть мотором. На асфальт выступила Груббер, вся в зеленом и блестящем, с искрой. А чуть поодаль я заметил Беловоблова, он сидел в кустиках и внимательно смотрел на дорогу, вроде как скрывался.

Грузовик медленно двинулся в сторону Груббер. Сначала я не понял — что тут происходит, но когда грузовик начал набирать скорость, догадался. Это Беловоблов. Тренируется в спасении. Груббер — это человек Света, сейчас грузовик будет ее давить, а Беловоблов, видимо, наоборот, спасти. Мне стало интересно, я стал наблюдать.

Грузовик разогнался как следует, до Груббер оставалось метров тридцать, не больше, а Беловоблов не торопился. Видимо, он собирался протянуть до последнего, чтобы спасение было более эффективным. Грузовик хрипло загудел сигналом.

Беловоблов продолжал сидеть в кустах, пялился, как сыч.

Я увидел и водителя — Кружкин. Давил на газ, глаза идиотски выпучены, сосредоточен, видимо, отступать не намерен, готовился сшибать без всяких поблажек.

Груббер тоже — стояла посреди дороги и пялилась на приближающийся грузовик. Ей бы уже в сторону пора было отпрыгивать, а она смотрела и смотрела, в последнюю секунду рот еще раскрыла, как бы в ужасе.

Я все думал, что Беловоблов вот-вот выскочит из своих кустов, но он почему-то не выскочил.

Грузовик со шмяком сбил Груббер, она отлетела в овраг.

Машина проехала еще немного, остановилась, из кабины показался Кружкин. Беловоблов предъявился из зарослей. Они переглянулись.

Рядом со мной вдруг оказалась Костромина, тоже перепрыгнула через асфальт.

— Это они правильно решили, — сказала она. — Порепетировать сначала. А если без репетиции... А Груббер ничего, выдержанная девушка. Платье, правда, жалко, могло испортиться.

— Надо было ей в кольчуге сбиваться, — сказал я. — Или в робе.

— Что-то тебя, Поленов, все время к кольчугам тянет, — сказала Костромина. — А в робе не пойдет, в робе неправильно. Ну ты представь, как ты будешь спасать девушку в робе?

— Да уж.

— Смотри, идет уже, очухалась.

Для человека такой удар, конечно же, даром бы не прошел, а Груббер уже медленно поднималась из жухлой растительности. Платье не порвалось, но перепачкалось.

— Все так и должно быть? — спросил я.

Я предполагал, что спасать надо несколько по-другому, но, с другой стороны, времени прошло много, обычаи могли и измениться.

— Нет, конечно, — ответила мне Костромина. — Все должно быть не так... Беловоблов, ты что делаешь? Зачем грузовик портишь? Еще пару раз — и он развалится.

Беловоблов не ответил, направился к Груббер. Кружкин тоже подтянулся. Некоторое время они совещались, затем продолжили свои упражнения. Груббер снова выходила на дорогу, Кружкин ее давил, Беловоблов вел себя странно. Два раза он оставался сидеть в кустах, один раз выскочил, но спасать не стал, другой раз перепрыгнул через дорогу, но принцессу снова почему-то не спас.

Груббер сбивало автомобилем. И сбивало, и сбивало.

После четвертого раза Груббер выглядела уже совсем помято. Платье все-таки разорвалось, в волосах торчали сучки и палки, рука у Груббер безвольно повисла вдоль корпуса и покачивалась при ходьбе.

Я подумал, что если ее сейчас сшибет в пятый раз, она откажется от всего этого, я бы, во всяком случае, отказался: какой интерес — ты стоишь, а тебя давят? Спасать должны, а они давят.

Но в пятый раз Груббер уже не сшибло, потому что сшибло самого Беловоблова. Он выскочил на дорогу, вытолкнул из-под колес Груббер и замер, как статуя с острова Пасхи. Машина срубила Беловоблова, но поскольку он был тяжелее Груббер, его не отбросило в овраг, а подмяло под бампер, затянуло под днище и, к моему к.б. удовольствию, хорошенько переехало, с приятным уху треском и хрустом.

Костромина тоже хмыкнула и спросила:

— А ты бы так смог?

— Что? — не понял я. — Чтобы меня переехало?

— Да нет, спасти. С риском, чтобы это тебя переехало.

— С чего это я должен Груббер спасать? Я ее как-то раз просил по литературе сочинение за меня написать, так она отказала. А я за нее должен под машину кидаться? Пусть Беловоблов кидается.

— Молчи, Поленов, ты безнадежен, — остановила Костромина. — Смотри, опять едут. Хорошее качество, ты бы такое развивал.

Беловоблов действительно не сдавался. Выбрался из-под грузовика, вправил сломанную руку, отряхнулся и взялся снова устанавливать Груббер на проезжей части, если раньше она располагалась практически по центру, теперь он сместил ее на правую полосу, поближе к кустам.

— Ты неправильно все делаешь, Беловоблов, — крикнула Костромина. — Ты что же думаешь, она будет вот так стоять посреди дороги и дожидаться, пока ее не переедет твоя колымага? Она не Груббер, она человек. Человек победит.

— Попрошу не вмешиваться, — ответил Беловоблов. — Костромина, ты иди отсюда, не твое это дело.

Я немного подумал, почувствовал к.б. гнев, но Костромина поймала меня за плечо.

Беловоблов продолжал свои упражнения, Впрочем, критику он, кажется, воспринял — теперь Груббер не стояла стоймя, а шагала. Пусть небыстро, но все равно сразу же

возникли трудности — Кружкин по ней грузовиком не попадал. Сначала он проехал мимо, затем задавил Беловоблова, потом не справился с управлением и зарулил в овраг.

— Я не могу на это смотреть, — сказала Костромина. — Даже моим нервам есть пределы. Это тупик, ты же видишь. Мы ничего не можем... Пойдем лучше на кувшинки полюбуемся, а то эти дураки их в тумане растопчат все.

— Они неправильно делают, — сказал я. — Кружкин должен помедленнее ехать, а Груббер сама должна на грузовик кидаться, тогда и совпадут. А так нет.

Костромина меня похвалила за творческий подход. Мы пошли дальше, а Беловоблов, Кружкин и Груббер все еще упорствовали в заблуждениях, я оглянулся и вполне в этом убедился. Груббер все так же обреченно выходила на дорогу, Кружкин старательно давил ее грузовиком, Беловоблов спасал. Иногда спасал, иногда не спасал. А иногда Кружкин его давил. По-разному. В целом понятно было, что любовь — дело непростое, с первого раза у многих не получается, плющит многих. Впрочем, тут, может, и грузовик виноват — старый уж очень. Надо было Беловоблову найти что-нибудь поновее, глядишь, дело бы и пошло.

Одним словом, они там давились, а мы с Костроминой спустились в овраг, в туман, в теплый воздух, двинулись вдоль ручья Безымянного. Пахло, как говорят, вареными яйцами — в овраге били сероводородные родники, тоже горячие, а один даже целебный. Команду «Труп старушки» видно не было, все разбрелись и исчезли, потерявшись в кустах, провалившись в норы.

Я сорвал кувшинку, она немедленно осыпалась желтыми каплями, Костромина сказала, что кувшинки рвать нельзя — они от этого погибают и делаются ненастоящими.

Мы брели во влажном тумане, останавливались возле сероводородных родников, к.б. любовались кувшинками, пили воду. По вкусу вода была совершенно обычная, пахла же, конечно, пикантно. Выбрали к Старому мосту, поднялись.

С моста отлично просматривалась школа и наши одноклассники. Грузовик, кажется, уже дымился.

— Вот видишь, — сказала Костромина, — как Беловоблов старается. А ты?

— А что я? Ты же всем руководишь, а я только выполняю. Ты что-нибудь придумала?

— Нет пока. А ты что думал — все сразу тебе придумается?! Ах, Поленов, это все сложно. Человеком сложно оставаться, это работа, труд. Вот ты сам хоть что-то придумал, чтобы приблизиться к Свете?

Я, конечно, ничего не придумал, но вдруг вспомнил про один старый фильм, смотрел его еще давно. Про испанцев. Они там все с саблями прыгали, а в промежутке песни пели. Как раз под окнами своих возлюбленных. Я вспомнил это и сказал:

— Придумал. Песню спою.

— Какую еще песню?

— Ночную. Которую под окнами поют.

— Это называется серенада, — уточнила Костромина. — То есть грустная сумеречная песня. А что, мне эта идея нравится. Ты петь-то хоть умеешь? Конечно же, не умеешь, что я спрашиваю.

— Нет, — признался я. — Не умею.

— Грустно-печально. Впрочем, ничего, у меня есть компьютер...

— У тебя компьютер?! — к.б. удивился я.

Костромина промолчала. У нее дядя, кажется, подводник, изучает затопленные человеческие города, а подводникам из-за сложности работы льготы разные положены. Вроде компьютеров, электрических швейных машинок, видеопроекторов разных. Вот дядя Костроминой все и переправляет.

— Компьютер есть, но он так быстро не поможет, — сказала Костромина. — Петь нужно срочно. Надо думать, что делать. Сегодня же ночью пойдешь к дому...

— К какому дому? — не понял я.

— Поленов. Ты обещал меня слушаться, а сам не слушаешься.

— Извини. Просто слишком много впечатлений. Этот грузовик меня заставил... Больше не буду не слушаться. К какому дому идти-то?

— К человеческому, к какому. Все по тридцать раз повторять приходится.

— Не сердись.

Человеческих домов у нас в городе несколько.

Периодически люди приезжают в город по разным делам, ну или в просветительских целях, всегда останавливаются в определенных домах. Один на Набережной, другой на Болотной, возле Ледяного пруда, третий на Соленом холме.

— Обойдешь все три, — сказала Костромина. — Хотя...

Она сделала вид, что к.б. задумалась.

— Нет, все три можешь не обходить, иди на холм.

— Почему на холм именно?

— Там ремонт недавно сделали, — логически рассудила Костромина. — Так что Света будет жить, скорее всего, там. Пойдешь, значит, на Соленый холм и будешь петь протяжные песни. А до ночи... До ночи думай о любви, — велела мне Костромина.

— Как о ней думать-то?

Костромина сунула мне брошюрку.

— Почитай, — велела она. — И сразу все поймешь.

Думай о любви, подбирай песни и жди.

— Чего ждать-то?

На этот вопрос Костромина не ответила.

## **Глава 6** **Лирический барабан**

Оставшийся кусок дня я подбирал песню. Принес из подвала коробку с кассетами и магнитофон и стал слушать.

В музыке я разбираюсь плохо, поэтому ориентировался по названиям песен. Если в названии встречалось слово «любовь», я откладывал кассету в сторону. Отобралось достаточно много, кстати, кассет, больше двадцати. Я устроился в кресле, включил магнитофон и стал слушать по порядку. Песни «Любовь — зола», «Три слова про любовь», «Любовь и ярость в Коломне», «Ушла любовь, остался пепел чувств» и еще почти тридцать наименований.

Слушал до окончательных сумерек и наметил одну песню, печальную и лирическую, прослушал ее восемь раз, слова как мог переписал в тетрадь, успев до темноты.

Ночь в нашем городе наступает рано. Из-за влажности, конечно. Когда модификаторы погоды настроены на дождь — еще ничего, когда на туман, то день заканчивается часов в пять, а то и раньше. Город тонет, фонари почти не просвечивают сквозь воду, всюду мгла, густая, неправдоподобная, точно она не сама создалась силой природных законов, а ее кто-то нарочно выдумал и выпустил погулять. Пустынные улицы, сырость, помутнение.

Но тогда был дождь, хотя непонятно почему, все-таки зима, а зимой полагается туман, но был дождь. Или что-то вместе, сквозь жиденький туман то и дело пробивались крупные капли, они проходили сквозь туманное полотно со звуком втыкающихся в вату иголок.

В восемь вечера, как и приказывала Костромина, я открыл окно, выбрался на балкон и стал ждать. Костромина точно не сказала, во сколько надо отправляться петь серенады и велела мне руководствоваться подсказками внутреннего чутья, я сидел на балконе и ждал, что оно подскажет.

Но чутье отчего-то безмолвствовало, пребывало в дождливой беспросветной дреме. На стене дома через улицу светились фосфорные часы, я следил за минутной стрелкой, она двигалась медленно, так, что мне стало казаться, что она приросла к циферблату. Следил за стрелкой так долго и так пристально, что почувствовал, что это я вращаюсь, а она стоит на месте. Старался думать о любви, как наставляла Костромина.

Вспомнил еще про брошюру. Новенькая, на серой ломкой рецикловой бумаге. Книжка из серии «Чувства для начинающих: Любовь», видимо, Костроминой на ее соулбилдинге выдали. Пособие.

Начал читать, укрывая бумагу от дождя капюшоном.

Сначала там быстренько излагалась теория, но не в скучном виде описаний и пояснений, а в виде изречений разных великих в прошлом людей. Некоторые размышления были умные, другие остроумные, мне запомнилось одно, какой-то поляк придумал, он потом с моста сбросился.

## ЛЮБОВЬ — ЭТО НЕДОСТИЖИМОСТЬ.

Я пять раз прочитал это, ничего не понял, но какую-то суть почувствовал, у меня так редко бывает. Хорошо, там внизу страницы все раскрывалось, что значит это самая недостижимость. Это когда между тобой и тем, кого ты любишь, хрустальная стена. И нельзя ни дотронуться, ни поймать дыхание, ни за руку взять, можно только выть, ломать стекло и снова выть. А если до любви можно дотронуться рукой, то это уже не любовь получается, а счастье. Счастье же совсем-совсем другое, низший пилотаж. Только недостижимость имеет настоящую цену. Никогда.

После теории шла практика, тут я встретил уже больше знакомого. Например, любовь рекомендовали вызывать ограниченным удушением. Поскольку проведенные исследования показывали, что физиологические параметры у любви и у удушья одинаковые. Душиться следовало в присутствии третьих лиц, чтобы не переусердствовать. Костромина наверняка захочет попробовать этот метод на мне, я представил, как она будет меня душить, и улыбнулся. Ладно, пусть.

Предлагалось также воздействовать на сердечную мышцу. Ночью класть на грудную клетку бетонную плиту весом не менее пятидесяти килограммов, вес рекомендуется увеличивать постепенно, примерно каждую неделю. Днем надлежит сжимать сердечную область особой струбциной. В комплексе с удушающим инвентарем это должно было обеспечить должный эффект, при условии, конечно, что упражнения будут прodelываться ежедневно.

Соулбилдинг.

Я подумал, что Костромина, наверное, в соответствии с брошюрой действует, просто вместо сдавливателя использовала лекарственные средства, что-то ведь в какао она наверняка сыплет?

Кроме сердечных тисков и кислородного голодания любовь надлежало пробуждать через жалость. Для начала автор брошюры советовал почему-то представить себя собакой,

которую хозяин везет на лодке топить в омут. Затем представить себя хозяином, вздумавшим избавиться от своего питомца и ведущим его на поводке к уютной плоскодонке. И в первом и во втором случае требовалось пережить острую жалость к самому себе. Тут никакого сложного инвентаря, никаких струбцин и тисков не требовалось, и я попробовал.

Сначала представил себя собакой, потом хозяином. Попробовал вообразить все в точных подробностях, как рекомендовалось в книжке: когда был собакой — представил на своей шкуре крупных блох, когда был хозяином, представил аллергию на собачью шерсть. Но ничего особенного я не почувствовал. И вообще ничего не почувствовал, спина немного зачесалась, и все дела. Фантазия у меня слабая, не то что у Костроминой. Возможно, мне надо было представить себя собакой Кузей, которую Костромина собиралась топить в канаве, и я тоже попробовал, правда, сил душевных совсем не осталось, и ничего не получилось и в этот раз.

Вкупе с психологическими и сугубо физическими методами авторы брошюры «Чувства для начинающих» советовали штудировать книги про любовь, ну, чтобы перенять повадки влюбленного человека и воплощать их в повседневности. В частности, рекомендовалось читать роман «Богиня с Килиманджаро» с комментариями.

У меня дома хранилось несколько книжек про любовь, я припас их для матери, но она их так и не прочитала, ни одну дальше двадцатой страницы. Это, кстати, было плюсом, если бы мать активнее увлеклась книжной культурой, мне бы для чтения не досталось ничего.

Нам трудно читать бумажные книги, мы не способны к любви и к мелкой работе. Поэтому у нас нет механических часов, вязаных носков, мы не клеим елочные игрушки и не подписываем открытки. Поэтому у нас такие проблемы с электроникой — мы не можем настроить роботов-изготовителей, а спаять электросхему сами мы тоже не в состоянии. Собственно, нет вообще никакой техники, которая требует точных скоординированных движений. А книги...

Я, прежде чем взять в руки букварь, больше месяца тренировался со специальной пластиковой книгой, которую ни

порвать, ни сечь, ни помять. И все равно три букваря разодрал. Только так. Страницы расползаются под пальцами, корешки отскакивают, краска стирается, переплеты, пусть и самые крепкие, расползаются, книжки получаются исключительно одноразовые. Поэтому с книжками у нас дружба сложно складывается. Но мы стараемся. Я стараюсь. Всегда помню, что читать надо, без чтения те искры, которые еще теплятся в душе, погаснут, исчезнут без следа.

«Богини» в моей коллекции не нашлось, поэтому я снял с полки первый попавшийся томик в оранжевой обложке, книжка называлась «Давний вечер в Парамарибо». В ней рассказывалось про какую-то Анжелику, которая отправилась в путешествие на круизном лайнере, потерпела катастрофу возле берегов Южной Америки и спаслась на шлюпке на дикий пляж. На этом диком пляже она встретила красавца, английского аристократа с длинными волосами, который обитал с детства в глухих и первозданных джунглях, жил охотой на крокодилов. Аристократ из зарослей очень понравился этой самой Анжелике с теплохода, и она в него стала понемногу влюбляться и воспламеняться душой, но тут из бескрайних прерий показался индейский вождь, меднолицый, мускулистый и благородный, он спас Анжелику от укуса тарантула.

Оба кандидата были хороши, а дальше почти пятьдесят с лишним страниц шли вздохи, взгляды, томления и метанья, во всем этом я ровно ничего не понял, поскольку совсем не представлял, как испытывать томление и что для этого следует предпринять.

Неожиданно книжка меня к.б. увлекла, вдруг стало интересно, чем там все закончится. Аристократа выберет эта Анжелика или вождя? Но этого я так и не узнал — за пять страниц до конца аристократ и индеец, вооружившись ритуальными томагавками, отправились к священному водопаду, чтобы выяснить, кто достоин Анжеличьего сердца. И все эти пять страниц они полосовали друг друга стальными крюками и пытались проломить противнику голову булавами, а в конце так и не проломили, поскольку, видимо, намечалось продолжение. Оба всего лишь рухнули в водопад, а Анжелика, страдая, смотрела сверху, кто выплывет. Я подумал, что в

продолжении должен был обязательно появиться пират, ну, чтобы включиться в борьбу за сердце красавицы, я даже начал этого пирата представлять, но тут строгий голос сказал:

— Ты почему до сих пор тут сидишь?

Я обернулся и увидел свою Костромину в резиновом плаще и со свинцовым зонтиком. Неслышно пожаловала. Не доверяет. Правильно делает.

— Ты что, уснул на балконе? — к.б. сердито спросила Костромина. — Совсем дураком стал? Что это ты там читаешь? Опять про велосипеды? Я тебе велела про любовь изучать...

Костромина выхватила книжку, полистала, порвала страницу.

— Молодец, — сказала она. — Верной дорогой идешь. Читай-читай, это правильная литература. Вот у нас на соулбилдинге есть девочка, она прочитала уже двадцать книг про любовь.

— И что?

— Ничего пока, — ответила Костромина. — Надо как минимум сорок прочитать, тогда начнет получаться.

— Что начнет получаться? — уточнил я.

— Все.

Понятно. Костромина села рядом, раскрыла зонтик.

— Ты песню подобрал? — спросила она. — Или опять забыл?

— Да. То есть нет, не забыл, конечно, я послушал и переписал.

— Демонстрируй.

Я сунул Костроминой тетрадку, но она ее оттолкнула.

— Ты мне свои каракули не подсовывай, ты пой давай.

— Как?

— Как полагается. Пой лирическим голосом, и чтобы выражение лица обязательное было, а не кое-как.

Я спел. Как мог, но спел. С обязательным выражением лица, в некоторых местах руками двигал, чтобы украсить звучание. Костромина слушала, наклонив голову, внимала.

— Ты считаешь, это песня про любовь? —

поинтересовалась Костромина после того, как я закончил исполнение.

— А что? — спросил я.

— Как это что? Ты, когда выписывал, слова не читал, что ли? В смысл не вникал? Там человек бубликом почти до смерти подавился, а ты говоришь про любовь.

— Он подавился от любви, — заметил я.

— От любви люди со скалы кидаются, а у тебя что?

Сначала он бубликом подавился, потом с коня неудачно упал, а в конце и вовсе... Даже повторять неприлично.

Костромина к.б. засмутилась, поморщилась.

— Это песня про несчастную любовь, — объяснил я.

С этим аргументом Костромина неожиданно согласилась.

— Может, ты и прав, — сказала она. — Недостатки текста ты возместишь душевностью исполнения. Конечно, с этим у тебя не очень... Ну да ладно, все равно ведь ты ничего, кроме этого, не разучил.

Я кивнул.

— Хорошо, — согласилась Костромина. — Песня есть. А вот чем будешь аккомпанировать?

Про аккомпанемент я, между прочим, не забыл, просто подумал, что для этого нужна гитара, а где я найду гитару? Ни одна гитара нас тоже не выдерживает, а из железа гитар не придумано. Вроде бы есть из дюралюминия, однако и на такой гитаре надо учиться играть не один год и не у каждого получается — то струны рвутся, то пальцы отрываются. Но самая большая трудность — это, конечно, отсутствие слуха. Все мелодии приходится разучивать сугубо механистически, путем переставления пальцев. Наверное, я смог бы аккомпанировать себе на бубне, но бубна у меня тоже не было.

— Я это предусмотрела, — сказала Костромина. — У меня там внизу контрабас.

— Что? — не понял я.

— Контрабас. Это такая большая скрипка.

Костромина показала, насколько большая скрипка контрабас.

— Я не умею на контрабасе, — признался я.

— Все равно, — отмахнулась Костромина. — Это пока и не нужно, Света все равно не приехала. Так что ты всего лишь порепетируешь. Постоишь, подержаешь струны.

— Ладно. Перчатки кольчужные брать?

— Опять ты за свои кольчуги, Поленов, сколько можно?

Для игры на контрабасе кольчуга не нужна. И вообще, тебе пора, уже почти двенадцать. Иди, время серенад, освободи балкон.

Я послушно освободил балкон и двинул к выходу. Спустился по винтовой чугунной лестнице с протертыми ступенями, увидел контрабас, он стоял, прислонившись к перилам, и был похож на Пушкина, да, именно так, на Пушкина, каким его рисуют в черно-белом цвете.

Я сковырнул ногтем замок и достал инструмент. Все равно в моих руках он выглядел хрупко, хотя ростом с ним мы были почти одинаковы, ну, разве что он чуть повыше и посolidнее.

Понюхал почему-то. Инструмент пах живыми недавними мышами, толстой пылью, стариками какими-то из позапрошлого века, нотами, то есть старой бумагой. Пальцами, видимо, тех, кто когда-то на этом инструменте играл, сотни пальцев, сотни рук, жизни, которые за этими руками.

Я закинул контрабас на плечо и выбрел на улицу, в туман и тьму. По футляру тут же застучали холодные капли, бум-бум, ритмичные и музыкальные, наверное. Перехватил поудобнее футляр, положил его на голову и направился в сторону холма. Наверное, я выглядел странно, с контрабасом на голове. Только вряд ли кто-то оценил бы это зрелище. Шагал под дождем, думал, не надо ли мне запеть уже сейчас? Слышал, некоторые поют, гуляя под дождем, вроде как раньше это было принято среди людей.

— Погоди, — почти сразу догнала меня Костромина. — Погоди, Поленов.

— Что? — я обернулся с контрабасом.

— Я провожу, — сказала Костромина. — А вдруг ты заблудишься?

Переубеждать не стал, вдвоем всегда веселее.

— А где ты взяла контрабас? — спросил я.

— У дяди, — ответила Костромина. — Он хотел выучиться играть, но не осилил. Я тебе кое-что показать еще хотела, да чуть не забыла. Но покажу...

Мы шагали через город на Солёный холм, и Костромина всю дорогу пыталась доказать мне, что она научилась плакать. Забегала вперед, говорила: «Смотри» — и начинала выпячивать изо всех сил глаза. Слезы не текли, Костромина к.б. расстраивалась и пробовала снова и снова и в конце концов стукнулась с медным звуком лбом во встречный столб.

— Не получается. — Костромина потеряла глаза. — Давление шалит, обычное дело, из-за этого слезы не текут.

Она указала пальцем в небо.

Я выглянул из-под контрабаса, ничего, дождь как дождь, льет, падает, вернее.

— А вообще-то я легко плачу, — заверила меня Костромина. — Очень легко. За двадцать секунд, я по секундомеру засекала.

— Ага, — сказал я.

— Не веришь, что ли? — Костромина схватила меня за локоть. — Ты, Поленов, мне не веришь?

— Верю, — сказал я. — Я тоже чувствую, что давление шалит, уши, кажется, закладывает.

Я, не опуская инструмент, похлопал себя по уху.

— Мой почаше, — посоветовала Костромина. — И вообще... Вообще про любовь думай, а не про уши, уши у тебя новые отрастут, а любовь один раз в жизни бывает.

— Я думаю.

Всю оставшуюся дорогу до Холма я действительно думал про любовь. В голове вертелась песенка, которую я собирался петь, а Костромина больше на меня не пялилась, стихи вместо этого читала. Нет, серьезно, стихи, я от нее совсем этого не ожидал. Оказывается, Костромина выучила большое количество любовной лирики, про разные чудные мгновенья, про то, как небо переворачивается, про то, как девушка пела в церковном хоре, ну и дальше всякое такое. И читала все это как бы с выражением и даже движениями лица себе помогала в некоторых местах, прямо как я руками, когда пел песню про любовь.

Редкие прохожие смотрели на нас к.б. с удивлением, а большинство с равнодушием, сквозь. Хотя, если бы я был человеком, я бы, наверное, удивился, встретив нас на улице.

Тощий парень в ободранной одежде тащит на голове контрабас, такая же тощая девчонка подпрыгивает перед ним, размахивает руками, корчит рожи и что-то выкрикивает. А сверху дождь. А под ногами мокрицы чавкают и чавкают.

Человек, увидев вот таких вот нас, сам стихи бы какие-нибудь сочинил, люди ведь их направо-налево сочиняли, при каждом удобном случае. Вроде как так: «Под сапогом чвак-чвак мокрица, И стынет сразу в жилах кровь, А он, гнетомый контрабасом, Сквозь бурю грезит про любовь». Но я не сочинял, я думал. Любовь-любовь-любовь. Трепет. Вздохи. Что там еще? Глаза, руки, прогулки в парке, свет косыми лучами. А Костромина все кричит и кричит свои стихи.

Я вдруг увидел этот наш поход с контрабасом глазами какого-нибудь старинного художника, и от этого мое воображение разыгралось, я стал представлять дальше и дальше, самому интересно стало, необычно. И я вообразил вообще невозможное. Вот я, вот Света, вот мы отправились в парк на Набережной гулять, идем, гуляем себе. Вокруг велосипеды исковерканные лежат, в небе туча тянется, туда-сюда мрачные вуперы шастают, а с неба сыплется мелкий град. А иногда крупный. А я закрываю Свету от града свинцовым зонтиком...

То есть не свинцовым, а вполне себе обычным.

Интересно, как влияют на любовь погодные условия? Мне кажется, что значительно. В нашем городе человека даже пригласить некуда, везде дождь, сырость, сомнамбулы, моллюски разные ползают, а по углам фонари согнутые. А все эти предметы любви вряд ли способствуют, скорее наоборот. А должно быть все по-другому, вообще-то. Море должно быть, пальмы...

Пальмы. Мы со Светой гуляли под пальмами, а рядом плескалось море...

Дальше пальм и моря мое воображение не прыгнуло и закисло. К тому же Костромина закончила с коротенькими стихами и пустилась рассказывать длиннющее стихотворение, посвященное нелегкой судьбе некоей Бригитты, возможно, это была даже поэма. Жизнь Бригитты была сложна: сначала она любила принца, а после того, как принц ее променял на новую,

хорошую невесту, выпила яду, а принц потом понял, что он потерял, и тоже выпил яду, велел захоронить себя вместе с возлюбленной. А потом оказалось, что яд был несмертельным и Бригитта с ее избранником на восьмой день очнулись в фамильном склепе живые и бодрые. Но поскольку склеп был уже надежно замурован, Бригитта и ее жених выбраться не смогли, а остались вместе навсегда...

Я перебил Костромину, спросил, почему это многие любовные стихи заканчиваются трагически? То со скалы кто-нибудь кидается, то ядом травится, то в склепах замуровывается, или вот бубликом до смерти подавляется, падая потом с велосипеда. А Костромина ответила, что так полагается. Правила такие, никуда от них не деться. Несчастливая любовь очень способствует развитию души, от любовных терзаний сердце истончается, делается чутким и добрым, по нему дзюнь ноготочком — и звенит. И вообще.

И вообще мы выбрали на холм. Не заметили как, верно Костромина говорила, что культура творит чудеса. Расстояние сокращает.

Соленый холм.

Раньше тут располагались самые богатые городские кварталы, виллы, особняки, патио и терема, рубленные без единого гвоздя. Отсюда вся зараза и потекла, именно здесь появились первые в нашем городе вуперы, именно здесь, по слухам, устраивались вечеринки, на которые заманивались люди из пригородов...

Сейчас здесь от старого района ничего не осталось. Сначала выжгли, затем снесли, затем залили расплавленной солью. Так он почти пятьдесят лет и стоял, соленый, покрытый белым налетом, скрипел кристаллами и пугал ворон. А недавно стали заселять, место больно хорошее. Привезли земли, домов новых понастроили. Для людей. Красивые, из белых камней, как бы чтобы оправдывать название. Климат здесь, говорят, хороший. В городе и в окрестностях всегда сыро, а здесь, напротив, сухота от соли. Воздух для людей полезный. И вид странный, космический, белые дома, белая земля, чистота.

Правда, никто не живет пока, своих, постоянных людей у нас нет, только приезжие, командировочные, но они тут тоже пока не живут, предпочитают в капсулах по месту работы.

Мы с Костроминой и контрабасом немного постояли, любуясь на все эти белоснежные просторы. Немного поспорили, в каком доме остановится эта Света, после чего Костромина выбрала один сбоку, почти над самым каналом, и сказала, что уверена на сто процентов и даже больше. Остановились возле него.

— Тут все, что надо человеку. — Костромина указала пальцем. — Балкон есть, крыльцо есть...

— А зачем крыльцо? — спросил я.

— А ты что думал? — усмехнулась Костромина. —

Раньше все предусмотрено было, чтобы ничто от чувств не отвлекало. Вот взять балкон — это важнейший в любви предмет. Во-первых, с помощью балкона люди очень часто знакомились.

— Роняли типа? Как Сиракузовы?

— Болван. — Костромина собрала волосы в жгут, выжала. — Никто ни на кого балкона не ронял, все цивилизованно происходило. Кавалер проходил под балконом дамы и забрасывал на него шляпу. Если дама планировала ответить на ухаживания кавалера, она шляпу оставляла, если нет, выкидывала обратно, предварительно в нее презрительно плюнув. Во-вторых, на балконе красавица дожидалась своего принца, а он... — Костромина постучала по контрабасу. — Он, соответственно, ей серенады пропевал. Вон, погляди, балкон не просто припилен, а образует собой как бы нишу. В этой нише звуки концентрируются, так что даже негромкий шепот слышно. Балкон выступал как резонатор чувств, разве не ясно?

— Яснее не бывает, — ответил я.

— В-третьих, если суженого убивали на войне или на дуэли, или если он от тифа умирал, ну, или там волки съели, безутешная девица бросалась с балкона в пучину.

На всякий случай я еще раз оглядел улицу. Подходящих пучин поблизости не наблюдалось, я хотел на этот факт указать, но Костромина продолжала архитектурную лекцию:

— Крыльцо для организации чувств было не менее важно. И тут тоже все понятно любому. Вот вспомни строки: «И сдохнуть, как собака, перед крыльцом любимой...»

— В каком смысле? — не понял я.

— В самом непосредственном, — безапелляционно ответила Костромина. — Когда влюбленный юноша получал от своей избранницы решительный отказ с плевком в шляпе, он приходил к крыльцу ее дома и пронзал кинжалом сердце прямо на ступенях, под балконом любимой. Для этого даже специальные широкие ступени делали, чтобы юноши в канаву не сразу скатывались, а еще некоторое время лежали, демонстрируя всем свою любовь до гроба. Для гроба, кстати, были специальные скамьи предусмотрены. Но это уже в парке, тут парка нет.

Я оглядел дом. Скамеек не видно, а ступени были вполне себе узкие, да и крутые. Я с сомнением покачал головой, пронзенное тело тут ни разу не удержится, скатится вниз, к дренажным канавкам.

— Не беспокойся, Поленов, тебе себя пронзать не придется, — сказала Костромина. — Это же только люди... А ты пронзай себя, не пронзай...

— Да не, если надо, то я, конечно, готов, просто ступени тут... — я кивнул. — Если пронзиться, то вряд ли получится прилично упасть...

— Повторяю: тебе не придется никуда падать, — оборвала Костромина. — Да даже если ты пронзишься копьем, все равно ничего путного не получится. И вообще, мы не о том говорим, ты, как всегда, меня в сторону от мыслей увел...

Костромина потерла лоб, осторожно, незаметно почти, проверила парик, продолжила рассказ:

— Крыльцо — важная штука в жизни. А вон еще посмотри, решетка для плюща.

Я поглядел. Решетка действительно имелась, возле стены, поднималась до второго этажа, правда, пока без плюща.

— Чрезвычайно важная деталь, — сообщила Костромина. — Решетка-то. По ней юноши взлетали к подругам на крылах любви. Впрочем, тебе не придется этого делать, ты и так

запрыгнешь. Таким образом, этот дом — самый подходящий. Не сомневаюсь, что Света выберет его. Можешь начинать.

— Что начинать? — как всегда, не понял я.

— Серенаду. Уже забыл?

Костромина постучала по контрабасу.

— Нет. Я... Просто... Что под дождем-то торчать? Иди домой. У тебя там ведь Кузя.

Не хотел петь при ней. Наверняка ведь смеяться станет.

Но Костромина сказала, что хочет проконтролировать меня до конца, у нее нет никакой уверенности в том, что я немедленно не сбегу, не проявлю малодушие и не буду вести себя как дурак. А насчет Кузи я могу не беспокоиться, им вместе с правами выдали автокормушку. Конечно, она не забыла оставить Кузе провиант, а если бы случилось невероятное и она бы покормить собаку забыла, то автокормилка выдала бы животному причитающийся ему провиант ровно по времени.

Я пожал плечами, снял с головы футляр, достал контрабас. Контрабас еще сильнее пах мышами, мне этот запах показался каким-то домашним и спокойным. Даже дождь перестал мешать, мне неожиданно захотелось оказаться вот в таком белом мраморном домике с крыльцом и балконом, пусть дождь по крыше, пусть гроза... А я бы огонь развел, дрова бы ароматные кинул в камин, кофе сварил, сидел бы перед огнем. И пусть бы море еще плескалось, такие волны, чтобы от самых сильных вздрагивали стекла. И дымом бы пахло, сапоги возле огня сушились...

Что-то меня к морю тянет. Странно. Никогда и близко не был, а тянет. Может, голос предков? Прапрадедушка был капитаном, ходил вокруг мира на белом корабле с парусами...

Шаги. Со стороны Кирпичного переулка. Кто-то поднимался на Соленый холм со стороны города. Тяжело поднимался. Явно с грузом.

— Так... — недовольно протянула Костромина. — Этого нам только не хватало... Ты погляди, Поленов, до чего эти идиоты додумались своим бесполезным мозгом!

Я поглядел. По Кирпичному переулку поднимался вупер. С чем-то тяжелым и круглым за спиной. Я не разглядел, что, а Кострома сразу же увидела, а может, угадала.

— Это Беловоблов, — сказала она. — Так-так-так...

Прикусила губу.

Я пригляделся и обнаружил, что это действительно Беловоблов. С барабаном на сросшейся шее. С барабаном за сутулой спиной. Еще с какой-то явно музыкальной техникой по бокам. Беловоблов тоже нас заметил, но приближаться не перестал.

— Мерзавец, — сказала Костромина. — Я так и знала. Поленов, скажи ему, что он негодяй. Иди-иди, только барабаны не сломай, они нам могут пригодиться.

Я испытал к.б. сильный прилив ярости и двинулся к сопернику. Мы встретились в центре улицы, под дождем, под пасмурным небом, на самой верхушке города, недалеко от крыльца и балкона, и я сказал:

— Беловоблов, я тебе всю морду побью.

Беловоблов думал секунд тридцать, потом ответил:

— Я тебе сам всю морду побью.

После этого мы стояли и пялились друг на друга, наверное, несколько минут.

Я не знал, что делать дальше. По всем правилам надо было вот сейчас начать бить друг друга по лицу, пинать ногами и бросать через бедро, но я раньше никогда не дрался, и опыта в этой области у меня не имелось. Да у нас вообще никто не дерется — смысла нет. Зачем? Нанести серьезные повреждения невозможно, а биться до смерти... то есть до конца. Даже мы боимся пустоты.

К.б.

Так вот и стояли. А Костромина с иронической улыбкой наблюдала за нашей дуэлью со стороны.

— Послушай, Беловоблов, уходи, а? — попросил я через некоторое время.

— Сам уходи, — ответил мне Беловоблов.

— Я сюда первый пришел, — попробовал возразить я.

— А у меня барабаны, — возразил в ответ Беловоблов.

Что дальше делать, я не знал. Поэтому оглянулся на Кострому. Она подзывала меня знаками. Я вернулся к ней и к контрабасу.

— Что надо тут этой обезьяне?

— Не знаю. Может... Может, он пришел сюда...

Я не дурак, я понял, зачем он сюда появился, но решил к.б. пошутить, чтобы разрядить обстановку юмором.

— Может, он сюда на барабане приехал поиграть? — предположил я.

— Может, — к.б. согласилась Костромина. — Все в этом мире может быть. Хотя вообще-то я раньше не слышала, чтобы Беловоблов играл на барабанах. И вообще, мне почему-то кажется, что музыка как таковая здесь ни при чем.

— А что при чем?

— Я думаю, он тоже решил исполнить серенаду для Светы.

— На барабане?

— Ага, вряд ли он их просто так принес. Серая личность, что с него возьмешь, — поморщилась Костромина. — Серенада должна быть лирической, а какая лирика с барабаном?

— А может... Может, это лирический барабан? — предположил я. — Ты же не знаешь — вдруг такие бывают?

Действительно. В музыке мы плохо разбираемся, вдруг Беловоблов нашел где-нибудь лирический барабан? Может, у него предки барабанщики.

— Посмотрим. — Костромина уперла руки в бока. — Сейчас Беловоблов заиграет, и все станет ясно.

Беловоблов расположил барабаны, соединил их с трубками, со стульчиком, собрал барабанную установку. Довольно неловко, но собрал, почти ничего не погнул и не сломал, наверное, уже давно тренировался.

Беловоблов поднял палочки, посмотрел на них с недоумением, затем стукнул. Звук получился звонкий и какой-то мрачный. Я совсем ничего не понимаю в лирической музыке, но мне показалось, что такой музыкой можно отпугивать галок от посевов, под такую музыку неплохо хоронить, предаваться отчаянью, рвать на себе волосы, кусать локти. Но к лирике она имеет вполне себе далекое отношение.

— Бездарность, — громко и с презрением сказала Костромина.

Но Беловоблова это совсем не смутило, Беловоблов бумкал еще и еще, сильнее и сильнее, бум-бум-бум. Звук каким-то образом вступал в контакт с дождем, капли рассыпались в туман, воздух ощутимо вибрировал, я ощущал это недавно сточенными зубами и немного глазами.

Бум-бум-бум, над головой барабанщика собралась небольшая туча то ли дождя, то ли тумана. Не переставая стучать по барабану одной палочкой, Беловоблов зажег фонарик, и тучка засветилась мрачной ночной радугой.

— Ах ты... — скрипнула зубами Костромина. — Красиво...

Действительно. Звук, цвет, все это, наверное, весьма неплохо сочеталось с крыльцом и с балконом. Наверное, это можно вполне было бы назвать серенадой. Маленькой ночной музыкой, ласкающей ухо любимых.

— Могу поспорить, это не он придумал, — сказал я. — Это все Груббер. Слышь, она, по случаю, это... тоже в какой-нибудь соулбилдинг не записана? У нас в городе точно только одна секция.

— Эта дура? Да она даже не может...

Костромина замолчала.

— Не думала об этом, вообще-то. Но у нас действительно только один кружок...

— Может, она сама по себе, а? — сказал я. — В индивидуальном порядке? Где-то потихонечку душу качает и качает, никому не говорит. На самом деле ведь красиво.

Беловоблов сделал еще что-то с фонариком, и в облаке заиграли искры, точно в нем собиралась небольшая такая гроза. Придумано было здорово, тут не отнимешь. Когда Беловоблов начинал стучать по барабанам быстрее и сильнее, облако поднималось выше, и Беловоблов ударял еще сильнее, отчего из облака просыпались искры и били маленькие синие молнии. А когда он стучал как-то по-другому, глуше и медленнее, облако опускалось и висело прямо на голове у Беловоблова, как большая мохнатая шапка.

— Фокусы, — скептически произнесла Костромина. — Фокусы, точно. Престижитация самого низкого пошиба. Это не имеет ничего общего с настоящим искусством.

Но как-то не совсем уверенно она мне это сказала.

— Ну-ка, давай ты, — невесело велела мне Костромина.  
— Приведи музыку в исполнение.

Струн на контрабасе оказалось совсем немного, три всего, впрочем, может, так оно и полагалось, не знаю. Я обнял контрабас поплотнее и заиграл. Одной рукой зажимал лады, другой дергал за жесткие и неподатливые струны. Звук мне нравился, он получался по-настоящему бархатный, округлый, мягкий, от этого звука мне представлялось, что у меня под руками начал мурчать толстый счастливый и сытый кот. Даже на ощупь это было, наверное, похоже, хотя на самом деле я не знал, какой на ощупь кот, я его только в зоопарке видел, да и то издали.

Кот котом, а мелодия у меня никакая не складывалась, как я ни старался. Получалось, честно говоря, унылое бреньканье и треньканье и скрежет предательски отросших ногтей по металлу и дереву. И все это никак не складывалось в мелодию, хоть немного, хоть чуточку стройную. Хаос.

У Беловоблова получалось гораздо лучше. И это его шоу, и вода, и туча, и электрический свет, и молнии — все это выглядело здорово и мощно. Наверное, если бы Света увидела это со стороны, то ей бы понравилось. И Беловоблов получил бы передо мной преимущество в битве за ее сердце.

Я попробовал играть на контрабасе громче и пронзительнее, но эффекта это не сделало. Если получалось громче, то из голоса контрабаса исчезала та самая приятная округлость, он становился каким-то треугольным, и вообще получалось какое-то дребезжание, совсем не способствующее романтике. Похоже на дребезжащие и ржавые консервные банки.

Беловоблов, впрочем, легко перекрывал мои старания своим грохотом.

Так мы и играли, дзынь-дзынь, бамц-бумц, и достаточно долго и бессмысленно, и так же бессмысленно не прекращался дождь, а Костромина стояла рядом и скрежетала зубами.

Потом у меня весьма кстати лопнула самая толстая и, видимо, самая главная струна. С указательного пальца лихо сорвало кусок мяса, но я почти не заметил. Без этой струны контрабас стал повизгивать, полязгивать и вообще вести себя несерьезно, как большая балалайка. Беловоблов окончательно вырвался вперед. К тому же барабан у него был явно хитрый, водонепроницаемый и так далее, а у меня контрабас, наоборот, со влагодобязнью, он уже не только дребезжал — хрипел, сморкался и хрюкал.

И вторая струна скоро лопнула — я же не скрипач, у меня пальцы совсем не музыкальные, совсем наоборот. На половине струн игралось вовсе плохо, я заметил, как Беловоблов победоносно улыбается, он видел, что у меня ничего не получается. Слышал, как Костромина зубами шелкает, как мурена, я где-то читал, что пойманная мурена здорово зубами гремит. Одним словом, контрабас явно проигрывал барабану, по всем фронтам, и, сколько я ни пробовал компенсировать эту страсть, не получалось ничего.

В конце концов, я немного перебрал с силой, случайно совершенно, как всегда, так что в результате струна осталась совсем одна-одинешенька, в тоске и в печали.

На это Костромина сказала:

— Играй на одной. Когда у Страдивари [Не у Страдивари, а у Паганини, не на контрабасе, а на скрипке.] недруги порвали все струны на его контрабасе, то он играл вообще без струн.

— Как? — не понял я.

— Так. Это же Страдивари! Он мог вообще без струн играть! И даже без контрабаса! Давай, Полено, покажи этому барабанщику!

Я показал. Как мог. Как получилось. Последняя струна совсем ослабла и бряцала неприятным стальным звуком. Через минуту струна лопнула окончательно, и звук кончился совсем. Вернее, кончился мой звук, а звук Беловоблова остался. И облако, и свет. Беловоблов торжествовал и отчасти ликовал. А как у Страдивари, у меня не получилось, хотя я и попробовал, не Страдивари я совсем.

Я попробовал было немного побарабанить по контрабасу, но Костромина меня остановила.

— Ладно, хватит, — сказала она. — Все понятно. Не надо музыки.

Я перестал извлекать музыку, и перед домом будущей Светы... то есть, перед будущим домом Светы раздавался теперь только барабан Беловоблова. Барабан гремел, облако висело.

— Надо его как-то отвадить. — Костромина кивнула в сторону Беловоблова. — Видишь, как не на шутку разыгрался. Он нам мешать только будет, под ногами начнет суетиться, может все испортить. Я в том смысле, что он может вдруг понравиться Свете, и тогда ты ей уже не понравишься.

— Так, может, это хорошо...

— Что ж тут хорошего? — насупилась Костромина.

— Он понравится Свете, я не понравлюсь, у меня будет несчастливая любовь... Это... Сердце мое будет разбито, а? Это же тоже правильно.

Беловоблов ударил в барабан несколько раз особенно громко, с вызовом.

— Вот сволочь-то... — сказала Костромина и погрозила Беловоблову кулаком.

Беловоблов послал ей воздушный поцелуй.

— Ладно, мы тебе еще устроим, — сказала Костромина. — Пойдем, Поленов, домой. Уже поздно. Или рано, не знаю...

Костромина огляделась. Я понимал, что мы потерпели поражение, но относился к этому... никак не относился, а Костромина вроде как была удручена, однако виду пыталась не подавать.

— Бодрее, Поленов, бодрее, — сказала Костромина. — За любовь надо бороться не на жизнь, а на смерть. Вся история человечества — это история борьбы за любовь. Троянский конь и все такое. Или ты не согласен?

С троянским конем я был вполне себе согласен.

## Глава 7 Гематоген

Столовая — самое унылое место во всей школе, вряд ли с этим хоть кто-то будет спорить. Очень похоже на старый завод.

Столы длинными рядами, скамьи длинными рядами, окна, пластиковые клетчатые скатерти, все. На столах гематоген в железных мисках. В батончиках. Покрошенный на кубики. Нарубленный дробинами. Рядом есть еще и плавленный, в ребристых железных стаканчиках — для тех, кто в батончиках не может употреблять, многие ведь не могут.

Гематоген. Собственно, гематогеном это назвать сложно, как сложно наше существование назвать жизнью. Гематоген — белково-витаминный концентрат, смесь рыбной муки, продуктов нефтесинтеза, минеральные добавки, ароматизаторы, антикоагулянты и еще много всякой жизненно необходимой дряни.

Тошнота. Тошнота и тоска, на стенах портреты великих, все лысые или с бородами, многие в очках, фамилии их я не помню, хотя когда-то непременно разучивал и записывал. А Костромина помнит, наверняка и справа налево.

Я проследовал к своему месту, сел на скамейку, на номер 17, который за мной закреплен. Костромина устроилась напротив. Вообще-то у нее номер 18, но она по номеру никогда не сидит, а сидит там, где придется настрояние.

Народу в столовой было немного, как всегда, голода особого у нас никто не испытывает. Вообще, вернее, никакого не испытывает, есть не хочется никогда. Но надо. Физиологически. Или физически, точно не знаю. Для поддержания баланса. Без гематогена мы медленно, но слабеем. Рано или поздно. Конечно, у нас совсем другой метаболизм, потребности организма в энергии невелики, но если пару лет питаться нерегулярно...

Короче, рано или поздно почувствуешь-таки легкое недомогание в области всего организма, особенно в руках почему-то, ногти начинают выпадать, а волосы и без того выпали еще в младенчестве, хотя я родился рожим.

К тому же, если не есть, можно...

— Есть надо три раза в день, — как всегда, перед обедом сказала Костромина поучающим голосом. — Так все нормальные люди делают. Садятся за столы и едят. Хоть немного, но едят, без еды люди быстро помирают, кажется, через месяц.

Три раза в день. Сложно представить. Три раза в день есть гематоген.

Кострома достала из рюкзака деревянный пенал, вытряхнула из него нож и вилку. Что-то новенькое. То есть совсем. Ну да, соулбилдинг. Достойно есть, кажется, так.

— Зачем? — на всякий случай спросил я.

— Затем.

И она вытряхнула еще один нож и еще одну вилку, подвинула мне.

Серебро. Темное и протертое былыми поколениями, возможно, прежних Костроминых, дворян и... еще кого-то.

— Все приличные люди едят с ножом и вилкой, — объявила Костромина. — Давно собиралась. И мы будем учиться, и нам пора. Нож в правую руку, вилку в левую. Бери. Только не сломай.

Я взял. Серебро немного жгло кожу, казалось, что приборы горячие. Все как полагается. Аллергия. Не смертельная, совсем не смертельная, можно наглотаться серебряных дробин, и ничего с тобой не будет, только изжогой помучаешься, и всех себе делов.

— Жжет? — спросила Костромина.

— Да, немного. Как горячие.

— Так и надо, — кивнула Кострома. — Серебро испепеляет вредные образования. Ты знаешь, что раньше серебром бородавки лечили? Мы — ходячие бородавки.

Костромина немного впала в самопрезрение, но быстро вернулась.

— Ничего, что горят, — сказала она. — Зато ты приборы чувствовать лучше будешь, не ломаешь. Смотри, как прилично есть.

Она довольно ловко воткнула вилку в батончик гематогена и распилила его пополам ножом, лезвие чирикнуло по дну тарелки. Серединка батончика, как всегда, была чуть жидковата, и меня привычно затошнило.

Это может показаться забавным, но меня тошнит. Почти по-настоящему, в полную силу. Это — единственное практически полноценное мое чувство. Тошнота. Остальные... Так, не чувства, технические ощущения. Тени, полуфантомы,

полузмеи. Боль, жара, холод. Летом братья Сиракузовы во дворе отливали грузила для удочек. Так один из этих никчемнейших братьев для смеха сунул руку в котелок с расплавленным свинцом. И даже не ойкнул, зачерпнул горсть жидкого свинца и разлил его по формочкам, а на пальцы только дунул слегка. И я так могу.

И все так могут, возьми любого встречного. А от гематогена меня тошнит.

А у Костроминой вообще странное свойство есть, не полезное и не вредное, просто свойство, и все тут. Ей после рождения как-то не так мембраны в нос установили, они не прижились, и их еще пару раз переустанавливали, и каждый раз неудачно, нос слишком тонкий был. И из-за всех этих процедур нервы в носу Костроминой катастрофически оголились и сам нос сделался чрезвычайно чувствителен. Я, когда мы еще маленькие были, баловался часто, не со злобы, а как-то для. Подойду потихоньку, и раз — на нос и нажму. Кострома сразу в обморок валится. Забавно. Как на кнопку нажимаешь, а она выключается, как старый телевизор.

У других, кстати, тоже всякие случаи, потому что у каждого свои особенности организма, все больше по части дефектов между мозгом и органами чувств. Кто от запаха давленных тараканов с ума сходит, кто на мелкие кружочки смотреть не может, а другие вообще спят только стоя в углу, или звук натянутой резины очень не любят.

Но есть, конечно, и общее между всеми. Велосипеды мы все к.б. любим, стремимся к ним, если вупер видит неисковерканный велосипед, то он к нему невольно стремится, не знаю уж, откуда такое.

Кстати, многие считают, что это знак. Эти вот дурацкие качества. Ну, того, что Бог не совсем от нас отвернулся, оставил напоминание, что мы не совсем еще камни, что возможен пересмотр приговора.

— Тошнит? — с интересом спросила Костромина.

— Тошнит, — признался я.

— Это очень хорошо, — кивнула Костромина. — Тебя тошнит — а ты ешь. Преодолевай себя. Обезьяна стала человеком в преодолении.

— Это как?

— Просто. Вот ей совсем не хотелось есть каких-нибудь там личинок, или кору, или лебеду, а она ела и ела.

— И от коры человеком стала?

— Не от коры, а от усердия. Усердие — один из путей к успеху.

— Так что, получается, если я буду очень долго и очень усердно есть кору, то я рано или поздно стану человеком? — спросил я.

Костромина задумалась, я жевал гематоген, а она где-то через минуту ответила:

— Нет.

— Зачем тогда ее есть?

Костромина зарычала.

— Поленов. Ты специально придуриваешься или оно само у тебя так получается? — к.б. с гневом спросила она. — Я тебе о принципе говорю, а ты все время на частности сбиваешься. Неважно, что ты будешь делать. Есть кору, играть на гусях или лбом об стену стучаться. Главное, делать это с азартом. С искрой. С пониманием, что это важно.

Я, конечно, сразу же представил — вот я с азартом стучусь головой об стену. Год стучусь, другой стучусь — и в итоге постепенно очеловечиваюсь. Если стена не распадется. Вряд ли такое возможно. Для очеловечивания надо делать что-то другое, наверное... Впрочем, сообщать о своих подозрениях Костроминой я не стал.

— Терпение. Преодоление. Самоотречение. Только так можно стать человеком. И начинать надо с малого, Поленов, с малого. Вот тебе не нравится этот несчастный гематоген — а ты себя преодолей. И его преодолей. Преодоление сделало из обезьяны человека. Мерзость сделала из человека нас.

Я стал преодолевать гематогеновый батончик, я же ей обещал слушаться. Борюсь немного с собой, сражаясь с серебряным ножом, старавшимся согнуться, с вилкой, намеревавшейся завернуться в спираль. Преодолевал.

— Не налегай так, не трамвай толкаешь, — посоветовала Костромина. — Изящно действуй, как я.

Костромина ловко отрезала от батончика треугольный кусочек, отправила в рот.

— Вот так. Света, когда приедет, будет сюда обедать ходить...

— С чего это? — перебил я. — Она что, дура, гематоген лопать?

Костромина очень красиво закатила глаза к потолку. Я тоже на всякий случай туда посмотрел. Ничего, мухи кругами ползают. Зима, а мухи. И так везде.

— Поленов, Поленов, бьюсь с тобой, как рыба, а ты все такой же непробиваемый. Ты разве не чуешь?

Я втянул воздух столовой.

— Чуешь? — спросила Костромина.

— Ну...

К сладко-приторному запаху гематогена добавился неожиданный, свежий и непривычный аромат. Кажется, огуречный. У Лужицкого, кажется, дома росли огурцы, мать его любила огурцы, любила подавить их руками, понюхать. Запах знакомый.

— Не слышишь разве запах-то? — еще раз спросила Костромина.

Я понюхал еще. Точно, огурцы.

— Что это?

— Повара специального прислали, — сказала Кострома. — Вон, гляди...

Из кухни быстро выглянул вупер средних лет в белом халате, с презрением оглядел зал, поморщился, исчез снова.

— Он пять лет у людей обучался, — с уважением сказала Костромина. — Умеет почти двадцать блюд готовить.

— Прямо двадцать?

— Двадцать. И котлеты, и окрошку, и даже борщ. Света будет ходить сюда обедать, а он ей будет готовить. Кстати, кружок открыть собираются кулинарный, ты пойдешь?

— Не знаю...

— Что значит «не знаю»? — Костромина рассекла батончик гематогена. — Конечно, запишешься. Знаешь, девушки очень любят мужчин, которые умеют готовить. Ты ей сделаешь бутерброды с семгой, она тебя полюбит.

— На самом деле?

— Отчасти. Романтическая музыка, бутерброды с семгой...

— А как он пробует? — не поверил я. — Ну, этот повар-то? Он же вкус все равно различить не может. Только кислое-соленое...

— Не может, — согласилась Костромина. — Поэтому пять лет и учился. Если бы он мог различить, он бы три года учился. А то и два. Он не пробует, он кладет все точно по рецепту. Это большое искусство, у нас в городе всего два таких.

Повар выставился и еще раз оглядел зал.

— Видишь, как готовятся к приезду Светы?

— Вижу.

— И ты готовься.

— Буду. Обязательно буду. Слушай, Кострома, а зачем все-таки...

— Тебе надо выучить рецепт какого-нибудь блюда, — перебила меня Кострома. — Пельмени! Их делают из мяса и...

Меня снова затошнило.

— Ладно, ладно. — Костромина опять скрипнула ножом по тарелке. — Не буду про пельмени. Успокойся, Поленов.

Я успокоился.

— Слушай, а ты не хочешь сегодня вместо меня на соулбилдинг сходить? — спросила вдруг она.

— А что так?

Вряд ли Костромина устала, она упертая, делает все до последнего.

— Мне кажется, Кузя заболел, — сказала она.

— Так звони в «Скорую», — посоветовал я.

— Я позвонила, они сказали, что ничего страшного, это реакция на прививку. Но все равно мне не хотелось бы его одного оставлять. У него нос теплый. Так что сегодня я буду с ним сидеть. А ты сходи, послушаешь, запишешь в тетрадь, что к чему.

— Да я...

Да не был я ничем занят сегодня. Просто не хотелось.

— Ты обещал, — прищурилась Костромина.

— Ладно. Схожу.

Врет все. Точно врет. Кузя заболел. Ничего он не заболел, это хитрость Костроминой, уловка. Хочет затащить меня на соулбилдинг, вот и все. Под благовидным предложением.

— Ты обещал слушаться, — напомнила Костромина.

— Ладно, схожу, — сдался я.

— Вот и хорошо. — Костромина снова взялась за гематоген. — Я знала, что ты не совсем пропащий, что есть в тебе... Смотри-ка, Груббер идет.

В столовой показалась Груббер. Я к.б. удивился. Груббер в столовой никогда не бывала, дома обедала, а может, вообще не обедала, она всегда зеленого цвета, так что не исключено, что ест раз в год. А тут заявила. Шагала меж столов, смотрела по сторонам.

— Она неспроста сюда сунулась, — сразу сказала Костромина. — Ей что-то нужно... Она сюда рецепты пришла выведывать.

Костромина выскочила из-за стола и побежала к Груббер. И я тоже пошел. Так, на всякий случай, вдруг подерутся? Это я шучу.

Груббер как раз направлялась к кухне, Костромина ее, конечно же, догнала.

— Что ты тут делаешь? — спросила Костромина.

Груббер не ответила, продолжала шагать между столами. Я подумал, что она дневная сомнамбула — такие иногда встречались, редко, еще подумал, что надо СЭС вызывать, но Костромина схватила эту сомнамбулу за руку.

— Тебе чего? — спросила Груббер.

— Это тебе чего? Что ты тут вынюхиваешь?

— Тут, кажется, столовая. А я пришла пообедать.

— Так что же ты не обедаешь? Гематогенчик свеженький, угощайся.

Груббер пожала плечами, уселась за стол. Взяла батончик, стала жевать. Это получалось у нее не очень хорошо, ела как в первый раз. Гематогенина ей, кстати, попала старая и засохшая, крошилась и осыпалась на стол коричневым прахом под натиском мощных зубов. Костромина стояла и наблюдала. Я ничего не понимал.

Груббер справилась с батончиком, дожевала до конца, зыркнула на Кострому.

— Что еще? — спросил она. — Что еще тебе от меня надо?

— Мне? — к.б. удивилась Костромина. — От тебя? Ничего. Совершенно ничего. Но если ты не перестанешь болтаться с Беловобловым...

— То что?

Костромина театрально вздохнула и поглядела в потолок, на задумчивых мух. Зима, а мухи. Странно все-таки... Хотя в нашем мире полно странностей. Зимние мухи, зимний дождь, летний снег.

— То я тебя...

Костромина замолчала. Наверное, придумывала, что можно устроить Груббер. Выбор был весьма и весьма ограничен, а если по большому счету, то его и вовсе почти не было.

— Не ты одна такая умная умница, — негромко сказала Груббер. — С человеком подружиться хочешь, это понятно.

— Что тебе понятно?

— Все мне понятно. Хочешь подружиться. И ясно почему.

— Почему?

— Потому что рядом с человеком никто в энтропию не впадает, — сказала Груббер.

Это, кстати, правда. Рядом с людьми действительно энтропии почти никто не подвержен, давно замечено. Где человек, там аута нет. Ни на Новой Земле, ни в других местах, где много людей, почти не наблюдается таких случаев. Считается, что человеческое биополе благоприятно воздействует, предотвращает, так сказать. Поэтому программа «Человек среди нас» повсеместно одобрение вызывает.

— Вот поэтому ты и стараешься, — Груббер ткнула Костромину пальцем. — Аута боишься. У тебя ведь отец оуклился.

— Ее отец на Сахалине, — поправил я. — Он там на электростанции работает.

Отец Костроминой ведь действительно на Сахалине, давно уже уехал, лет восемь, наверное. Я его помнил, когда мы маленькими были, он нам свистульки из кроватных ножек делал. Потом пропал куда-то, Костромина всегда говорила, что на Сахалин уехал, обслуживает геотермальную электростанцию. Даже открытки его показывала, он их всегда от руки рисовал — вот киты нерестятся, вот Япония в бинокль, дорогая Лика, поздравляю тебя с днем рождения и все такое.

Про то, что он энтропик, я и не знал вовсе.

— Это вы все на Сахалине, — Груббер постучала себя по голове кулаком. — Сахалинщики. Да он давным-давно обэнтропился, все, нет его.

Я растерянно поглядел на Костромину. Потом на Груббер.

— Не смей про моего отца... — Костромина вдруг замолчала, не договорила.

Сначала я подумал, что она это так замолчала, из драматических соображений, выдержать паузу, но потом увидел, что нет. Просто Костромина потухла. То маленькое электричество, что питало ее эмоциональную активность, иссякло, батарейки сели, Костромина душевно перенапряглась и качнулась к равновесию. К нулю.

— Твой отец был энтропиком, и ты боишься, — повторила Груббер и со стальным звуком скрежетнула зубами. — Ты просто трусиха. И энтропичка. Наследственная. По тебе же видно.

— Не надо, — сказал я Груббер. — Не надо про энтропиков вспоминать, это плохая примета...

— А тебе, Поленов, осторожнее надо быть, — поучающее заметила Груббер. — Энтропия заразна, об этом все знают. Стоит одному в аут выпасть, как остальные вокруг тоже начинают. А Костромина в нашем классе самая заразная.

— Я не заразная, — возразила Костромина без особой убежденности.

— Это ты своему папе расскажи, — посоветовала Груббер.

— Я не заразная, — повторила Костромина.

— Почему, ты думаешь, она права на собаку получила?  
— спросила у меня Груббер. — Тоже из-за этого. Из-за трусости. Собаки — они как люди почти, энергетически положительные. Рядом с собаками тоже редко впадают, это тоже всем известно. Она тебе, наверное, еще про мороженое рассказывала? Про гирлянды? Да?

Я поглядел на Костромину.

— Рассказывала, значит, — ухмыльнулась Груббер. — Она просто боится.

У Груббер тоже хорошо получалось, к.б. обвиняюще, так что я подумал, что она, наверное, тоже по какой-нибудь душестроительной системе упражняется. Развивает эмоциональную сферу.

Костромина стояла рядом, понурившись, без интереса разглядывая квадратные узоры на скатертях.

— С человеком хочет дружить, а сама боится. А страх — это к ауту первый путь. Потому что...

Груббер неожиданно тоже разрядилась. Скисло. Резко сдулась, как шарик, выцвела. Зевнула, хрустнув челюстью. Они стояли друг напротив друга, мертвые угри, прелые листья, черный песок, прах. И я тоже такой.

— Ничего у вас не получится, — совершенно бесцветно сказала Груббер. — Ничего. Сколько ни старайтесь.

— Это у тебя ничего не получится. — Костромина отыскала в себе последние силы. — Это у тебя. Ты дура. И Беловоблов твой дурак. Можете на своих барабанах хоть заиграться.

Но Груббер не прореагировала, молча направилась к выходу. А я повел Костромину на двор, поскольку на уроки она идти совсем не могла — просто расплывалась, ноги подкашивались. Зря она ругаться пустилась, ругань истощает.

Мы выбрали на спортивную площадку и устроились на вкопанных покрывках. Костромина молчала. Раскрыть зонтик у нее никаких сил не оставалось, и его раскрыл я, согнул несчастный турник, приладил зонтик, сделал укрытие, но дождь, конечно же, все равно пробивался.

Наверное, мы так почти час просидели. Одни, в водной пыли, в тоске. После четвертого урока показался один мелкий

вуп из третьего класса, уселся и тоже стал сидеть и зачем-то мокнуть, мокнуть в компании какого-то сопляка было глупо, и мы отправились в школу, в сушилку, и там сидели еще полчаса, привалившись к горячим батареям, и только после этого на уроки смогли пойти.

История. Историю я люблю, она интересная, рассказывается, как там все раньше было, хорошо, быстро. Как люди жили до восьмидесяти лет и умирали как люди, как их хоронили с почетом в земле или сжигали и развеивали над утренними реками, а пепел некоторых даже в космос вывозили и выкидывали в сторону Солнца, они и сейчас медленно падают в Солнце. И все было раньше здорово, небо голубое, трава зеленая, солнце светит. Оно и сейчас где-то там светит, за тучами. Над Новой Землей оно светит, а летом так вообще за горизонт не заходит.

Вообще я эту историю уже много раз слышал. С первого раза мы очень плохо все запоминаем, особенно историю, нам вдалбливать надо по сорок раз. Но все равно, слушать интересно. К тому же наш учитель частенько рассказывает, чем раньше люди вообще занимались. На рыбалку ездили, спортом всяким увлекались, строили модели железных дорог, пироги с грибами пекли.

Да, раньше все было хорошо.

А потом люди вспомнили про вампиров. Сейчас уже никто не может сказать, с чего все началось, кто подкинул идею, кто сделал первый шаг, этого уже не узнать, но ни с того ни с сего вдруг все как помешались. Наш историк, ну, учитель истории Вячеслав Иванович, он ездил на семинар, в Новую академию наук, так там настоящий историк, человек, им все рассказывал.

Что никакого Погребиньского не было, конечно. Что это легенда — не более того. Никаких ключей, никаких склепов, никакого укуса и проклятия. И что обращение началось не сразу, нет. Люди играли в вампиров достаточно долго. Были написаны книги, сотни книг, были сняты фильмы — тоже много. И мультфильмы. И детские книжки, и даже погремушки. Мода. Увлечение. И ничего не происходило, ничего, все было нормально. А потом, когда вампиры всем надоели, кто-то

вспомнил про падших ангелов. Падшие ангелы — вот новый трэнд, вот мода.

Падшие ангелы.

Тому, что произошло дальше, нет никаких научных объяснений. Просто...

Просто Терпение кончилось. Просто Терпению есть границы.

Так тот человек ученый и сказал: «У Него кончилось Терпение». Тогда-то все и полетело. То тут, то там, по Северному полушарию, очагами и в разные стороны, и скоро обращение захватило все, залило страшной черной пеной. Наступило Темное время, темней не бывает, Земля погрузилась во мрак, и если бы не Лунная база, если бы не Новая Земля, то и сейчас ничего бы не осталось совсем.

Кстати, про мрак — это не фигура речи, по всему миру взрывались атомные электростанции и арсеналы, горели леса, разрушались плотины, вулканы проснулись и дымили, дымили, дымили. Атмосфера насытилась пылью и мелкой летучей дрянью, света не стало почти совсем, из-за чего погибла большая часть растений на суше и почти половина в океанах, а из-за растений и животные вымерли, и все по цепочке, и остановить уже было нельзя...

Все эти безобразия продолжались долго. Обращенные метались по планете, нападая друг на друга, на выживших животных, на все, что еще могло двигаться, и даже на то, что уже двигаться не могло. А потом наступила тишина, в которой были лишь вой и скрежет зубовый.

А после тишины пришло понимание.

Те немногие, кто не сгинул, поняли, что дальше так нельзя, и остановились. Они кое-как объединились, отказались от крови и попробовали все наладить, еще очень долго разгоняли невменяемых, жгли безнадежных и бесноватых, а потом собрались, дождались зимы, дождались, пока встанет лед, и отправились на Новую Землю. Ледяной поход.

Я слышал про это с детства. Когда дедушка еще не сидел в колбе, а возле окна, там, где теперь моя кровать, в кресле. Он распутывал бороду и рассказывал про поход, как больше тысячи вупов, в основном молодые, отправились через ледяную

пустыню в сторону острова. Про поля плазменных мин, установленных выжившими людьми, на минах испарилась почти половина. Про медведей, растерзавших раненых и калек. Про энтропию — холод и льды, почерневшие от пепла, вызывали мощную энтропию, многие для того, чтобы не оуклиться, вырезали себе веки, а некоторые, заметившие проявившиеся между пальцами перепонки, отсекали себе руки.

До берега острова добрались не более двадцати, и их встретил Белый отряд. Девятнадцать стражей на винтокрылых машинах, они окружили оставшихся и открыли огонь.

Остались четверо. Именно они впервые за много лет смогли побеседовать с человеком. Но люди не хотели возвращаться, и тогда вупы придумали. Сказали, что станут прыгать в вулкан, и началось Великое стояние на Этне. В котором и мой дедушка, между прочим, участвовал. Ну, когда все прыгали и прыгали в вулкан до тех пор, пока люди не согласились вернуться.

Но все равно люди еще почти пятьдесят лет старались держаться от нас подальше, до той поры, пока не придумали надежную вакцину, предотвращающую обращение. И только после этого все стало потихоньку налаживаться. Города почистили, по памяти и по хорошим фильмам восстановили кое-как старую жизнь. В воздух высыпали коагулянт, и тьма свернулась, хотя окончательный свет наступил тоже не сразу. А восстановление шло долго. И до сих пор идет. Людей не хватает, и они все заняты на самых важных постах.

— Я всегда тебе говорила, — прошептала мне в ухо Костромина.

— Что говорила? — не понял я.

— Про Погробиньского. Что его не существует.

— Он существует. Вернее, существовал когда-то...

Я помню, как давно, но знаю, может, лет восемь назад на бульваре Пищевиков стояла кривобокая статуя, похожая на сморщенного гуся, больного сколиозом. Хилые плечи, грудь, выпуклые ребра, ножки кривые, лицо с гнилым подбородком, рыбы глазки. Стоял так, прогнувшись, опираясь на какую-то странную, непонятную палку, которая при ближайшем рассмотрении оказалась веслом. Любой, кто видел этого

Погробиньского с веслом, немедленно хотел в него плюнуть. Помню, мне тогда отец сказал: «Вот это гадкий дядька, плюнь в него».

— Он стоял в виде статуи, — сказал я. — Я точно помню, такая, с веслом. А потом ее так заплевали, что она развалилась. Так что он настоящий — тем, кто не настоящий, памятники не ставят.

— Да нет, не настоящий же, — возразила Костромина. — Его просто специально придумали.

— Зачем придумывать Погробиньского? — не понял я. — Кому это надо?

— Это же очень просто, — пояснила шепотом Костромина. — Оставшиеся, ну, те, кто сумел выжить после всего, они не хотели помнить. Им стыдно было. Как бы. Ну, что они во всем виноваты. В своей глупости, в своей распущенности, в своей мерзости. Во Тьме. Именно они были повинны в схождении Тьмы, в том, что их дети и дети их детей оказались обречены на сумерки. И поэтому придумали Погробиньского — чтобы все на него свалить. Трудно жить с чувством вины. Невыносимо.

Костромина вздохнула.

— Поэтому и скульптуры устанавливали специальные — чтобы каждый, кто хочет, мог стукнуть проклятого Погробиньского, плюнуть в него и жить себе дальше. Чтобы совсем не пропасть.

— Костромина! — педагогически повысил голос Вячеслав Иванович. — О чем вы там разговариваете?!

— Про историю, — ответила Костромина. — Про будущее.

— И что же вас интересует в будущем? — спросил Вячеслав Иванович к.б. ехидно.

— Как что? Все. Как жить станем?

— Хорошо жить. Мало. Без глупостей. Как все. Каждый станет тем, кем хочет. Вы, Костромина, кем стать мечтаете?

Все почему-то поглядели на Кострому, а она не успела ответить, потому что зазвенел звонок.

После уроков была информационная пятиминутка. Так она называется, хотя на самом деле длится гораздо дольше пяти

минут, иногда до получаса. Народу, как всегда, собралось мало, меньше половины с последнего урока, сошлись в актовом зале, расселись кто где, одинокими грибами. На сцену поднялась Инга Сестрогоньевна с обширной бумагой.

Сначала Инга Сестрогоньевна, как обычно, рассказывала о достижениях космической промышленности, о повышении производительности труда и о скорой экспедиции на Марс, о том, что в них примет участие Элеонора Чарская, девушка из наших. На нее возложена чрезвычайно важная миссия, Чарская должна удалиться от базы на критическое расстояние, расставить какие-то там важные датчики на выжженных марсианских просторах и считывать с них межпланетную информацию. Чарская тренировалась для этой миссии почти семь лет, и если миссия пройдет удачно, то это откроет широкие перспективы. Возможно, создадут целый отряд из вуперов для освоения дальнего космоса, в частности Меркурия, вроде как запустят на Меркурий целый космический корабль вуперов, лет через двадцать это планируется совершить.

Инга Сестрогоньевна захватывающе поведывала про все эти выдающиеся звездные перспективы и космические успехи, а я осторожно поглядывал на Костромину. Она слушала с к.б. воодушевлением, чуть наклонившись вперед, немного переигрывая — стальные подлокотники кресла согнула. Наверное, представляла себя на месте космической Элеоноры.

Не знаю, меня в космос не особо тянет, не понимаю я этого. Кострома, конечно, хочет. Она вообще хочет вырваться, из города хочет вырваться, с Земли, подальше отсюда. Конечно, она никому ничего не рассказывает, но я-то знаю. Как знаю и то, что вырваться нельзя. Что мы привязаны к своим серым и грязным городам климатическими установками, потому что мы не можем существовать при нормальной влажности и при нормальном свете.

Инга Сестрогоньевна вещала про разработку гелия-3 на Луне, что еще совсем немного, и энергетическая проблема будет решена, и каждый получит автономный климат-контроллер, так что можно будет отказаться от погодных машин.

Я слушал и почему-то думал, как построить моноцикл. Это такой велосипед, но только не с двумя колесами, а с одним. Дело в том, что я осенью сдал в лавку полный комплект серии «Ночь и кровь», восемнадцать полновесных книг в тугом переплете, а в обмен получил «Иллюстрированную историю велосипедов». В ней обнаружилось много интересного, моноцикл вот. Думаю теперь сделать. Очень полезная, оказывается, вещь — для езды затрачивается в три раза больше энергии, чем на обычном велосипеде, а реакция на поворотах требуется просто нечеловеческая. Как раз то, что надо. Велосипед свинтить не так-то просто, тут нужны силы собрать. К.б. душевные.

## Глава 8 Соулбилдинг

В четыре часа дня я вышел из дома, захватив с собой тетрадь и ручку. Температура упала ниже нуля, и дождь должен был превратиться в снег, но на климатической станции распылили в воздух реагент, и снег не завязался. Дождь падал чуть оранжевый и кислый, слегка разъедал кожу, ничего страшного. А вот глаза в такой дождь лучше побережь, можно вполне себе ослепнуть. Конечно, не навсегда, но неделю без зрения прожить и врагу не пожелаешь, однажды я ослеп на три дня по неосторожности и все эти три дня боялся выпасть в аут. Мать по такому поводу пришла с работы и сидела со мной рядом, следила и, едва я начинал засыпать, натирала мне уши наждаком.

Поэтому я надел очки. Старые такие, в которых раньше ездили мотоциклисты, из настоящего старинного стекла и из настоящей кожи, с тусклыми латунными застежками.

Сквозь очки мир казался совсем посторонним, он плыл передо мной на расстоянии вытянутой руки, точно отражаясь в плазменном зеркале. Странное ощущение, как будто ты отделился от тела, но оно все равно что-то делает, абсолютно само по себе, без твоего собственного участия.

Прошагал в очках два квартала, остановился на углу Типографского переулка. Тут была небольшая роща

пластиковых деревьев, сосны, хотя сосны в городах и не растут. Я устроился под этими соснами и снял очки, чтобы немного отдохнуть. Под соснами было сухо и спокойно. Я был один, хотя тут часто любят стоять. Потому что на настоящий лес похоже.

Мимо тек город. Иногда проходили потерянные вуперы. Иногда проезжали грузовики. Иногда на велосипеде с лязгом катился упрямый вечерний вурдалак. Вода, собираясь в ручьи, текла вдоль дорог, ныряла в сливные колодцы. На домах зажглись желтые фонари, они отражались в мокром асфальте и в стеклах домов. Иногда дождь попадал в зоны низкой температуры и обращался в снег, и тогда падал оранжевый снег.

Я смотрел на это, наверное, минут десять, потом лишь очнулся и поспешил дальше по улицам.

Секция соулбилдинга располагалась в районном доме творчества, на улице Пионерской, возле старых прудов и старой же телевизионной мачты.

Пруды давно заросли мхом и представляли собой зеленую выпуклую губку, на которой можно было прыгать, как на батуте. Мачта была построена лет двести назад, но держалась до сих пор, хотя и пришла в серьезное безобразие. Тросы, которыми она удерживалась в равновесии, обросли лишайниками, сама мачта проржавела, на ее верхушке свили гнезда вороны и облака, издали мачта походила на очень худую ведьму. Да, пожалуй, что так, на ведьму. Особенно когда поднимался ветер и начинал гудеть в гнутых фермах, и казалось, что ведьма потихонечку плачет. Дом творчества давно собирались перенести, но в городе не было подходящего здания.

Сегодня мачта не выла, так, немного вздыхала, тоскливо, протяжно. Я подумал, что башня тоже хочет умереть. Упасть и больше не мучиться в этой бесконечной сырости и мгле, стать мертвым железом, просочиться с водой в земные глубины.

Я послушал эти вздохи, потом направился внутрь дома творчества.

Раньше я здесь не очень часто бывал, с классом иногда приходили посмотреть. Строение большое, масштабное, с колоннами, раньше называлось дворец, сейчас просто дом.

Потому что колонны посрубали, где до половины, где под корень, обломки торчат, как выбитые зубы. Штукатурка облупилась почти вся, из-под нее выглядывают красные кирпичные язвы, крыша кое-где просела. Не дворец. Но работает.

Работает, да, секции, кружки, студии, все как раньше. Конечно, раньше сюда пускали лишь молодежь да подростков, а теперь всех, кто может дойти и кто хоть чем-то интересуется. Я, помню, собирался тоже в какой-то кружок записаться, сейчас уже и не вспомню, приходил, интересовался, но не записался, конечно. Я толкнул дверь, и она скрипнула совсем по-старому, узнал этот звук, время прошло, а дверь до сих пор не смазали.

И в фойе тоже пахло так же, как... Сколько-то лет назад. Опилками, сыростью. Места тут было много, и его использовали — вдоль стен стояло оборудование, с помощью которого можно было заниматься творчеством. Тут были спортивные снаряды, токарные станки, кинокамеры, музыкальные инструменты разных видов, костюмы старинные, фонари, печатные машинки и еще тысяча всяких приборов и приспособлений. Некоторые в хорошем состоянии, другие так себе, третьи в руинах, видно было, что с ними работали усердно и безжалостно. Внимание мое привлекла толстая, причудливо свернутая в улитку медная дудка, и я не мог долго вспомнить — это так полагается или кто-то перестарался, на ней играя.

Пока я раздумывал над этим вопросом, ко мне подошел вупер средних лет, без стеснения лысый, когтистый, в просторном джинсовом комбинезоне.

— Пришли записываться? — поинтересовался он.

— Да... То есть нет, я вместо. Мне на соулбилдинг.

Вуп взглянул на меня с интересом, точно такой, как я, не мог на соулбилдинг ходить, а потом сказал:

— Это на третьем этаже. Проводить?

— Я сам.

— Только в сушилку загляните, пожалуйста.

Я заглянул в сушилку, и за три минуты промышленная тепловая пушка вытянула из моей одежды всю лишнюю влагу. Пушкарская старушка выдала мне каучуковые калоши и напомнила, где лестница.

Лестница была освещена, что у нас встречается редко, а тут на каждый пролет по две лампочки, и не какие-нибудь там бледнолицые, а нормальные, стоваттные. Я не спеша поднялся на третий этаж и вышел в коридор. Вдоль него располагались потертые черные двери с массивными ручками, на дверях были номера, однако я совсем забыл спросить, в какой комнате располагается секция соулбилдинга. Поэтому я стал проверять поступательно, заглядывая в каждую дверь.

За первой дверью сидело довольно много вуперов, они рвали газеты и книги, а из обрывков сосредоточенно клеивали что-то большое, кажется, снеговика.

В следующей комнате был кружок чтения. Вдоль стен высились книги как в стопках, так и в стеллажах. А еще в странных конструкциях, свисающих с потолка. Книги, висевшие в них, походили на добытую охотниками дичь, были растрепаны и свисали гроздьями. Под этими гроздьями располагались немногочисленные чтецы на крайне неудобных высоких трехногих табуретках. Это неудобство, насколько я понял, было предназначено для того, чтобы чтецы не впадали в аут, пусть они лучше падают с табуреток.

А вообще чтецов я уважаю, читать не так легко, как может показаться на первый взгляд.

Комната номер триста двенадцать пахла железом. За блестящими железными столами сидели вуперы разных лет и с разной степенью сосредоточенности изготавливали из железа самолеты. Кто выпиливал напильником, кто резал ножовкой, а кто вырубал долотом. Видимо, это была секция авиамodelьного спорта. Я представил, как выглядят состязания по этому самолетному спорту: вупыри собираются на поле и швыряют свои аэропланы вдаль. Серьезно все это выглядит.

За дверью триста четырнадцать усердно точили топоры. Не знаю, что это был за кружок, спортивного топоризма, или метания топора в цель, или еще какой, где требовались топоры, но точили, как мне показалось, с азартом. На секунду я подумал, что это и есть соулбилдинг, возможно, точение топора как раз развивает душу, возможно, это какое-то упражнение для стимуляции душевной сферы. Но в следующую секунду я был уже разочарован — показался руководитель кружка, весь в

стружках, с кривой табуреткой в руках. Табуретка эта была выполнена на редкость грубо и коряво, но все-таки угадывалась, видимо, эта табуретка была изготовлена с помощью топора. Это оказалась не секция топоризма, это оказался столярный кружок.

Соулбилдинг обнаружился за дверью триста семнадцать.

Я сразу понял, что это он. Дверь была открыта, из-за нее раздавался смех. Нормальный. Человеческий. Я толкнул ручку и вошел.

Комната была большая и светлая. Под потолком и во всех углах горели особые скандинавские лампы, точно воспроизводившие гамму солнечного света, популярная штука, но редкая. Популярная потому, что только так можно посмотреть на солнце, редкая потому, что завод по производству ламп маленький и потребности не покрывает. От ламп было тепло и уютно, мне сразу захотелось сесть в плетеную мебель, я огляделся и обнаружил, что такая есть — в левом углу стояла плетеная кушетка, и я быстро на нее сел. На меня особо внимания не обратили, так как все были увлечены смеянием.

Смеялся, само-собой, магнитофон. Не такой, как у меня, а большой, катушечный, катушки вращались, смех раздавался. Соулбилдеры сидели в кружке и слушали. Руководитель кружка сидел чуть поодаль на подоконнике.

Все это продолжалось долго, так что я смог осмотреть комнату поподробнее. Тут было много интересных вещей. Маленькие диваны. Картины на стенах, красивые, с яркими красками. Телевизоры. Рояль. Старинные часы с маятником. Ковры. Аквариум с золотыми рыбками и красноухой черепахой. Карты на стенах. Старый приемник. Но ничего специфического для наращивания душевной массы не заметил, никакого тренажера, никакого душедера.

Соулбилдеров было штук пятнадцать, разного возраста.

Магнитофон отсмеялся, пленка кончилась и некоторое время просто вертелась, свистя. Я решил, что теперь присутствующие будут повторять смех, будут тренироваться в хохоте и радости, но оказалось все совсем по-другому. После того, как хохот замолк, все занялись разными делами. Вдруг,

безо всякого научения. Кто стал читать старые журналы, кто музыку через наушники слушать, кто рисовать карандашом саблезубых тигров. А некоторые так и остались сидеть, погрузившись с виду в размышления.

А я не знал, что делать. Я думал, что тренер подойдет ко мне и направит, но руководитель кружка, обряженный в серый камзол не по размеру, остался сидеть на подоконнике. Он достал ножницы и вырезал из бумаги какую-то объемную конструкцию, причем вырезал нормальными, человеческими ножницами, орудуя при этом вполне умело. Видно, что большой профессионал.

Два довольно-таки молодых вупера играли в шахматы. Так сосредоточенно, будто по-настоящему. А может, и по-настоящему. Может, они тут уже очень продвинулись в соулбилдинге?

Мои подозрения укрепились — одна довольно-таки страшная девица достала откуда-то банджо и принялась на нем бренчать — и попадала в ноты. Ну, почти попадала. Я смог различить кое-какую мелодию и еще больше проникся уважением к тренеру.

На меня упорно не обращали внимания. Даже не смотрели в мою сторону, точно меня не было здесь вовсе. Наверное, так было принято, я не стал как-то себя определять, решил сидеть и слушать.

Тренер вырезал из бумаги ажурный шар, повесил его под потолок.

— Ладно, — сказал он. — Сегодня поговорим про страх. То есть повторим уже пройденное.

Он спрыгнул с подоконника и принялся бродить по комнате, рассуждая на ходу.

— Страх — это бич и благо человеческой цивилизации. Страх парализует и одновременно спасает. Страх — это благо, которого мы лишены. Мы не можем ощутить страх непосредственно — физиология не та, но мы можем испытать его с помощью разума. Научиться испытывать страх — вот наша задача. Турбина, продемонстрируй домашнее задание.

Та, что играла на банджо, повернулась.

— Вводная такая — ты увидела мышь.

Турбина глупо поморгала глазами.

— Мышь — это такое маленькое серое существо, мы же это проходили, Наталья.

Турбина не помнила, что они проходили мышь.

— Хорошо, я тебе продемонстрирую для наглядности.

Тренер направился к разноцветному шкафу у стены и достал из него что-то небольшое, наверное, чучело мыши. Так оно и оказалось, только не чучело, а резиновый муляж в натуральный размер. Тренер сжал резиновую мышь, и она сказала басом «Кря-кря». Мне казалось, что мыши пищат, но, кроме меня, это никого не смутило.

Руководитель кружка приблизился к Турбиной и вручил ей мышь.

— Теперь давайте представим, что я — это ты, — сказал главный соулбилдер. — А мышь как бы выбежала из норы. А ты ее увидела и крикнула: «Мышь»! Давай, на раз-два-три! Раз, два, три — кричи!

— Мышь, — сказала Турбина.

— А-а-а! — завизжал тренер.

Он удивительно ловко вскочил на ближайшую табуретку и завизжал еще раз и поджал ногу.

Здорово. Ничего не скажешь.

Тренер спустился с табуретки и сказал:

— Это страх. Так он выглядит.

Турбина принялась тискать мышь, та в ответ крякала.

— То есть всегда нужно визжать? — спросил кто-то из учеников.

— Не обязательно. Есть разные виды страха — леденящий, липкий, жгучий, сейчас мы разобрали панический. Если человек чего-то панически боится, то он ведет себя именно так. Вообще тренированный субъект может имитировать эмоцию без всяких внешних раздражителей. Именно эмоцию, а не рефлекс. Вот ты...

Руководитель повернулся к вупу, рисовавшему на листе бумаги то ли слона, то ли носорога.

— Смотрите, демонстрирую наглядно.

Тренер выхватил из кармана зажигалку, поднес ее к уху художника, щелкнул. Из зажигалки вырвалось синее гудящее пламя, оно подпалило мочку.

Художник ойкнул и отодвинулся.

— Это рефлекс, — пояснил тренер. — Пусть очень приглушенный, запоздалый, но рефлекс. А вот это...

Он повернулся к девице лет тринадцати и резким движением сорвал с ее шеи золотое сердечко на цепочке и вышвырнул в окно.

— Эй! — Девица дернулась в сторону окна, тренер поймал ее за воротник, усадил на табуретку.

— А вот это, — он выронил кулончик с золотым сердцем из ладони, — вот это уже похоже. Как можно охарактеризовать это чувство?

— Возмущение, — вдруг сказал я.

Все на меня посмотрели, тренер тоже.

— Правильно, — сказал он.

Он протянул кулон девице и добавил:

— Но все равно не чувства. Вы, голубушка, — он смотрел на девушку. — Вы должны были влупить мне пощечину. Вы знаете, что такое пощечина?

Девушка помотала головой.

— Внимание! — повысил голос тренер. — Внимание, все смотрим, что такое пощечина!

Кружковцы внимательно поглядели на своего руководителя.

— Пощечина производится так, — сказал тренер и с размаху влепил оплеуху голубушке.

Хорошо так, от души.

Голова у девицы дернулась и хрустнула шеей, сама она покачнулась, но на ногах устояла.

— Ну? — тренер поглядел на свою воспитанницу.

— Что? — спросила та.

— Рыдать надо, — подсказал кто-то сбоку.

Девица попробовала зарыдать. По ее лицу прошло несколько отрететированных конвульсий, оно скомкалось и сморщилось, но слезы не потекли. Тогда тренер на всякий случай влепил ей еще одну пощечину. И уже почти получилось,

я был готов поверить, что через секунду из ее глаз потекут слезы...

Но тут Турбина сжала кричающую мышь и сбила весь настрой.

— Ничего, — утешил тренер. — Мой опыт в соулбилдинге показывает, что примерно за год регулярных занятий можно научиться испытывать любое чувство. Я, разумеется, говорю о внешнем проявлении, но по законам психофизиологии и бихевиористики внешнее рано или поздно пробудит и внутреннее.

— Любое? — спросил я. — Любое чувство?

— Любое, — подтвердил тренер. — Вот смотри. Радость, печаль, отчаянье.

Тренер встал передо мной, улыбнулся, и через несколько секунд у него из глаз потекли слезы. Соулбилдеры поглядели на своего учителя с большим уважением. И я тоже, если честно. Так развить слезные железы и разработать слезные протоки мог только большой профессионал. Все-таки в который раз убеждаюсь — Москва ушла гораздо дальше нас в культурном отношении.

— Это отчаянье, — сказал тренер. — Сложное, со многими оттенками, комплексное чувство...

— А любовь? — перебил я. — Любовь можно научиться испытывать?

Турбина крикнула мышью.

— Можно, — кивнул тренер. — Правда, честно тебе скажу, я не знаю ни одного такого случая. Но почему, собственно, нет? Если остальные чувства можно постепенно развить, то почему нельзя развить любовь?

— Разве любовь бывает постепенная? — спросил я. — Разве она не сразу случается? Как балкон, как грузовик?

— Любовь — тоже комплексное чувство, — авторитетно поправил меня тренер. — Она бывает как сразу, так и постепенно — на это есть точные указания в авторитетных источниках. Но, должен тебе признаться, для того, чтобы возникла любовь, нужно очень и очень стараться. Не лениться, держать себя в строгости, упражняться регулярно. Гигиена

души должна быть на высоком уровне. Опять же энергетические затраты... Но дорогу осилит...

Тренер сделал паузу.

— ...Идущий, — нестройным хором закончили кружковцы.

— Правильно! — улыбнулся руководитель. — Идущий. Но тему любви мы будем разбирать на одном из будущих занятий, а сейчас у нас все-таки страх. Страх. Как говорили классики, страх открывает двери. И я полностью с этим согласен. Потому что они имели в виду двери здесь.

Руководитель постучал себя по голове.

— Поэтому сегодня у нас будут практические занятия по теме «Страх». Разберем один из самых распространенных страхов...

Вуп с обожженным ухом потрогал себя за мочку.

— Собираемся и выходим на улицу.

Вупы послушно встали и стали выходить. Тренер подошел ко мне и спросил:

— Почему тебя интересует любовь?

Я пожал плечами.

— Да так, — сказал. — Книжку в коллекторе нашел, вот и подумалось...

— Правильно, — похвалил меня тренер. — Думать полезно. И желать полезно. А сейчас пойдём, разберемся со страхом.

И пошли.

Мы все спустились на первый этаж, а потом и вообще вышли на улицу. Сбились в кучку. Дождь капал не очень сильно, так, скорее не дождь, а изморось. По мне, лучше изморось, не люблю, когда капли по голове бьют.

— Сегодня, друзья, мы разберем одну из разновидностей страха, — объявил тренер. — Страх высоты.

Тренер указал пальцем.

Тут я все, конечно, понял. Остальные, кажется, тоже, потому что дружно посмотрели на старую телемачту.

— Девяносто с лишним процентов человечества были подвержены страху высоты, — сообщил тренер. — Этот страх был так же естественен для них, как дыхание. Оно и

неудивительно — человек для высоты не приспособлен совершенно. Человек может научиться плавать, летать — никогда. Страх высоты заложен в человеке генетически. Поэтому он заложен и в нас. И наше дело — его развить.

— С вышки, что ли, прыгать будем? — спросила Турбина.

Тренер не ответил, сделал приглашающий жест в сторону мачты.

Соулбилдинг.

Наверх мы лезли долго. Ступеньки были скользкие, покрытые лишайником и водой, то и дело кто-то срывался и со скобяным звуком гремел вниз по лестнице, забранной полукругами проволоки. Тогда все останавливались и ждали, когда упавший вскарабкается обратно и займет свое место.

Я лез предпоследним, надо мной лезла Турбина, она срывалась со ступенек чаще остальных и, крикая мышью, падала на меня. Каждый раз говорила одно и то же:

— Извини, я не хотела.

После чего начинала взбираться обратно, а два раза так и вообще мне на голову наступила, и когда наступала, не извинялась.

— Ничего, немного осталось, — подбадривал тренер, лезший последним.

Но это немного тянулось и тянулось, мы все лезли и лезли. Ветер становился сильнее и холоднее. На ступеньках встречалась наледь, жирная и рыжая от ржавчины, она была похожа на что-то живое, дотрагиваться до нее было неприятно. Иногда мы останавливались на площадках и немного к.б. отдыхали. По-настоящему уставать было не от чего, но мы все равно отдыхали. Я понял, что это задумка тренера — люди ведь, если бы лезли на вышку, останавливались бы и отдыхали. Вот и мы тоже останавливались. Смотрели на город.

Сначала он как-то нависал. Нет, он был внизу, но все равно нависал, охватывая со всех сторон. Черный, с желтыми огнями окон и фонарей, которые делали черноту только чернее. Он выглядел совсем неподвижно, и если бы не фары редких грузовиков, ползущих по улицам и набережным, можно было бы подумать, что город мертв.

С запада город огибала река, тоже черная и беспросветная, как разлившаяся нефть, как открывшаяся бездна. Со всех остальных сторон город окружали леса, когда-то давно выгоревшие, когда-то давно съеденные короедом, а теперь из-за работы климатической установки верно превращающиеся в болота.

Чтобы мы не впадали в ступор при виде этой безнадежности, тренер рассказывал о будущем. Что следующим летом планируется провести целый ряд мероприятий. Лес будет залит напалмом и выжжен, болота осушены, на их месте разобьют поля подсолнухов и светлые просторные парки. Река будет очищена от ила, ряски и мусора и начнет течь. Очистится и атмосфера. Конечно, совсем воду из нее убрать не получится, но это будет чистая и светлая вода. И никаких мокриц. И никаких червей.

Мы слушали тренера, потом ползли дальше.

Мне казалось, что я нахожусь на дне большой чаши, однако чем выше мы поднимались, тем больше земля выгибалась в обратную сторону, потом она стала плоской, как бумажный лист, а потом начала медленно отгибаться вниз, и сделалось окончательно видно, что земля на самом деле шар.

До верхней площадки мы добрались, наверное, за час. А может, и дольше, конечно, я не заметил время. Отметил, что немного замерз, значит, ползли мы долго.

На верхней площадке телемачты было грязно и сильно воняло сразу всем, сыростью, тряпками, землей. Тут оказалось много земли, черной, рыхлой, с кочками и высохшей травой. Наверное, летом тут было зелено. Наверное, летом.

Вороны устроили здесь настоящую колонию, всю площадку покрывали их гнезда. Причем при ближайшем рассмотрении оказалось, что гнезда сплетены не из веток деревьев, а из обрывков проволоки. Тут была самая разная проволока — медная, алюминиевая, в черной оплетке и в разноцветной изоляции, вороны, видимо, научились стричь ее клювами и приспособили под строительные нужды.

Когда мы влезли, вороны разом взлетели со своих насиженных мест и принялись кружить вокруг. При этом они

сварливо и угрожающе орала, и казалось, что они вот-вот кинутся на нас.

Но я знал, что они не решатся. Вороны — тоже животные, хоть и с крыльями. А значит, они нас боятся.

Вообще я подумал, что эта площадка не лучшее место для демонстрации того, что такое страх: слишком шумно, нельзя сосредоточиться. Потом, место хотя и высокое, но не возвышенное, земля, помет, перья...

Впрочем, я ошибся — мы полезли выше, протиснулись через узкую тропинку, проложенную в проволоке, и полезли дальше.

Снизу казалось, что площадка, где обосновались вороны, является самой высокой частью башни, что дальше в небо уходит только тонкая спичка антенны. Вблизи выяснилось, что эта антенна высотой еще в двадцать метров и на ее верхушке имеется тоже небольшой пяточок, на него мы и поползли.

Лезть на антенну было легче. Ступени были холодные, но сухие, сама лестница шире, и когда Турбина в очередной раз сорвалась, я вжался в лестницу, и Турбина пролетела мимо, на тренера.

Нас встретила зима. Самая настоящая. Никакого мелкого занудливого и беспросветного дождя, снег, снег, только снег. Он был похож на толченное в муку стекло, висел в воздухе серебристой пылью и скрипел под ногами. Сама площадка оказалась невелика — четыре на четыре метра. Ее огораживали леера, возле которых скучал печальный раскладной стульчик — кто-то любил сюда подниматься и смотреть на город.

Тут неплохо было. Небо казалось совсем тонким и удивительно близким, и чувствовалось, что вот тут, за тучами, все совсем по-другому. Много света, воздуха, и ветер совсем другой, и звезды чистые, и видно Луну и людей, которые сидят на этой Луне и копают гелий, и облака — там настоящие облака, белые, многоэтажные, тяжелые. Облака, а не эта серая однообразная пелена, которая то и дело норовит собраться в грозу.

— Ну и что? — спросила Турбина. — Где тут страх?

Тренер улыбнулся и сказал:

— Страх тут везде.

Он подошел к краю площадки и снял леер, оставшись стоять рядом с пустотой.

— По статистике при падении с километровой высоты шанс сохранить жизнедеятельность примерно пятнадцать процентов, — сообщил тренер. — Тут, конечно, не километр, триста метров. По грубым оценкам, это увеличивает шансы примерно в два раза.

— Так нам все-таки прыгать? — опять спросила Турбина. Тренер не ответил.

— Подойдите, — сказал тренер. — Кто желает? Никто не желал. Это меня удивило.

— Для человека смертельно уже десять метров, — произнес тренер. — Некоторые умудряются разбиться при падении с высоты собственного роста.

— Я могу, — сказал я.

Тренер сделал приглашающий жест, я приблизился к краю.

Земля на самом деле осталась где-то далеко, так далеко, что ее почти не просматривалось, наверное, из-за тумана, наползающего с прудов. Город тоже поблек, растворился почти, смазался. И это тоже мне нравилось, я вдруг понял, что не хочу видеть этот город.

Я не испытывал никакого страха. Совсем. Нет, я не был дураком и совсем не хотел лететь вниз, но и испуга не было. Плохо. Должно было внутри задрожать или обмереть, но, конечно, не задрожало и не замерло. Потому что давно замерло.

— Плохо, — подтвердил тренер. — Очень плохо. Нормальный человек не подошел бы к краю. Нормальный человек любит жить.

— Нормальный человек вообще сюда не полез бы, — сказала Турбина.

Я поглядел на нее внимательнее.

С первого взгляда я ничего особого в ней не заметил, у нас каждая вторая такая: парик, серая кожа, слезящиеся глаза. На лице выражение общей бессмысленности, двигается как курица, мне на голову три раза наступала. А мыслит самостоятельно, такое редко встретишь.

Наверное, это понял и тренер, поглядел на Турбину тоже с интересом.

— Человек бы вообще не полез, — повторила Турбина. — А нам хоть бы что. Мы — монстры.

Она покрякала мышью и подошла к краю платформы, равнодушно выглянула вниз.

Плохо дело. Мы монстры... Значит, себя ненавидит. А это плохой симптом. От ненависти к себе до аута один шаг.

— Высоко, — сказала Турбина.

— И все? — спросил тренер.

— Все. А что еще сказать?

— И это плохо, — сказал тренер. — Страх нет...

— Нет, — согласилась Турбина. — И как его развить? Я дома занималась, все по пособию. И ничего.

— Так всегда бывает, — успокоил тренер. — Над страхом надо работать, просто так испугаться, с бухты-барухты, у вас не получится. Закройте глаза, сосредоточьтесь и попытайтесь представить, что вы падаете вниз. Попробуйте испугаться. То, что в вас еще осталось живого, должно возмутиться и запротестовать. Закрывайте глаза.

Я закрыл глаза. Попробовал представить, что падаю. Ну, падаю. Ну, лечу. Если во мне и осталось что-то живое, то оно не возмутилось и не запротестовало, совсем никак не запротестовало.

Раздался кричающий звук. И тут же грохот откуда-то снизу. Тренер выругался непонятными словами. И от души, тут никакой имитации, я просто услышал в голосе его досаду и раздражение.

Открыл глаза и посмотрел.

Турбиной на площадке не было.

А тренер быстро спускался вниз по лестнице.

— Сиганула, — равнодушно сказал вуп, что умел рисовать.

— Прыгнула, — добавил еще кто-то.

Вороны заорали громче. Они вернулись в свои гнезда и стали успокаиваться, а тут на них Турбина, пришлось снова взлетать, а летать в такую погоду и на такой высоте, наверное,

весьма паршивое занятие. Сыро, перья намокли, крылья не двигаются, а ты летаешь, летаешь, и это тяжело.

Мы полезли вниз по лестнице, хотя мне не очень хотелось. Небо совсем истончилось и светилось розовым, и снег тоже блестел розовым, штыри антенны почти касались туч и посверкивали синевой, мне захотелось устроиться поудобнее на раскладном стульчике и посидеть тут пару часиков. Но это было невозможно, надо было лезть вниз, смотреть, что случилось с Турбиной.

А с ней, вообще-то, ничего не случилось.

Мы спустились на площадку с гнездами и быстро нашли Турбину. Она обрушилась в вороньи жилища и теперь там лежала, выбираться не торопилась. Тренер стоял рядом и расспрашивал, что испытала Турбина при падении.

— Ничего я не испытала, — с разочарованием ответила Турбина. — Ничего. Просто упала в сучья.

— Это проволока, — поправили ее.

— «Упала в проволоку» хуже звучит, — заявила Турбина. — Пусть в сучья.

Турбина попробовала выбраться из проволоки, однако у нее, к странности, ничего не получилось, гнезда были сплетены таким образом, что Турбина в них застряла. Она начала ворочаться, как большая рыба, угодившая в рыбацкую сеть, она двигала руками, двигала ногами, и вместе с этим, казалось, двигались и все гнезда. Это была странная картина, оказалось, что все гнезда соединены друг с другом, и движение Турбиной породило движение вокруг нас.

Как-то жутко все это выглядело, наверное, это почувствовали все, тренер велел Турбиной остановиться. Вороны продолжали летать и кричать, тренер полез внутрь проволочной структуры и тоже, как ни странно, застрял. Странно, не думал, что тренер, такой опытный вупер, может попасть в такую беспомощную ситуацию. Но он тоже застрял.

Некоторое время они ворочались вдвоем, но потом замерли и как-то скисли, сидели и молчали.

Я не знал, что делать. И никто, похоже, не знал, что делать. Мы стояли и смотрели. Тренер еще немного пошевелился и успокоился.

— Надо помочь, — сказал я.

— Надо, — согласился кто-то.

Но лезть в проволоку никто не спешил, не то что боялись, просто не знали, что делать. И я не знал, что делать. Мы постояли, но это ни к чему не привело. Понятно, что силы воли в тренере было гораздо больше, чем в Турбиной, и периодически он начинал шевелиться интенсивнее. Но это приводило только к тому, что и он, и Турбина запутывались все сильнее и все больше походили на стальные коконы.

Нехорошо. Я подумал, что это ни до чего хорошего не доведет, попадание в кокон может навести на печальные мысли, как бы в аут не выпали. Что мне тогда Костромина скажет?

Я приблизился к тренеру. Надо действовать медленно, подумал я. Никуда не спеша. По проволочке. Взял проволоку, вытянул, отбросил. Взял другую, тоже вытянул, тоже отбросил. Постепенно. Дедушка, вспомнил. У моего дедушки было странное увлечение, непонятное, я всегда удивлялся. Дедушка садился возле окна и, когда рассказывал про былое и прошлое, всегда распутывал леску. Обычную рыболовную леску, ноль пять миллиметров, он наматывал ее на старинную трехлитровую банку, после чего разом спускал леску на пол. Получался удивительно спутанный ком, действительно напоминавший бороду. Борода получалась славная, дедушка улыбался и тут же с удовольствием принимался изучать головоломку. Распутывать бороду.

Как-то раз я попробовал. Потратил целый день, стараясь понять и хотя бы чуть-чуть это делать. Это было трудно. Хоть леска и была ноль пять миллиметров, но ухватить ее для нас тяжело. Ее трудно даже взять пальцами, не говоря уж о том, чтобы размотать бороду. Мне всегда представлялось, что распутать бороду невозможно. Однако дедушка справлялся с этим довольно быстро, сто метров распутывал часа за три, чем вызвал к себе всеобщее уважение.

Как оказалось, секрет был прост. Распутать бороду можно было только постепенно. Сначала найти конец, потом распутать первый узел, затем второй, ну и так далее.

Я неожиданно подумал, что этот метод может подойти и здесь. Выдирать Турбину и тренера не разом, а по проволочке.

Одну проволочку, другую и так потихоньку освободить неожиданно плененных.

Кстати, дедушка мой совершенствовал свое искусство и в конце мог распутать сто метров лески диаметром ноль три миллиметра. Правда, на это ему требовались почти полные сутки.

Я вытягивал проволоку, отбрасывал ее в сторону.

Остальные вупы довольно быстро поняли, что надо делать, и пришли на помощь. Без особой активности, но тем не менее. Они встали рядом со мной и тоже вытягивали по проволочке, по одной, по две.

Мой дедушка был прав. Не прошло и часа, как мы откопали Турбину. И еще через двадцать минут тренера — он шевелился сильнее и сильнее запутался. Но и с ним мы тоже справились.

Надо сказать, выглядели они отвратительно. Тренер и Турбина. По большей части из-за помета. В помете они были вымазаны плотно, с ног до головы, пахли соответственно. Плюс разорванная одежда. Ну и, конечно, они изрядно погасли и здорово напоминали сомнамбул.

Тренер кое-как отряхнулся, а Турбина стала спускаться вниз просто так, в таком виде. Она все-таки что-то сломала, то ли руку, то ли ногу, или ребра, потому что она спускалась с ощутимым грохотом, чем-то явно цепляясь.

Тренер полез вниз не сразу, постоял молча, собираясь с мыслями, но так ничего и не сказал, махнул рукой и начал спускаться по лестнице. Он спускался в явной печали, но я подумал, что в целом эта история на него окажет позитивное влияние. Это ведь тоже опыт и, собственно, соулбилдинг. Тренировка смирения. Тренеру было наглядно показано, что вся наша мощь иногда оказывается вовсе не мощью и может быть повержена даже такой прозаической вещью, как воронье гнездо. Это серьезное и полезное знание, и вообще, не зря я сходил на соулбилдинг.

Остальные строители души тоже отправились к земле. Я уже собрался отправиться вслед за ними, как вдруг увидел: при падении Турбина обронила резиновую мышь. Мышь лежала совсем недалеко от меня, метрах в трех, надо было только

подлезть под проволоку. Не знаю, зачем мне понадобилась эта мышь, но я полез за ней. Опустился на четвереньки, просунулся под проволоку и попытался дотянуться.

Но не получилось, резина, из которой была отлита мышь, успела окоченеть и выскользнула из-под пальцев, отскочила дальше под гнезда.

Я помнил о том, как запутался тренер, и старался не совершать резких движений, чтобы не запутаться, полз аккуратно и дополз — поймал мышь и сунул в карман. Зачем-то. Наверное, мне понравилось, как она крикает.

Вылезать из-под гнезд оказалось сложнее, приходилось пятиться, лежа на спине, подтягиваться исключительно за счет силы пальцев.

Но я справился. Выбрался.

И тут же что-то черное кинулось мне в лицо с явным намерением лишить меня зрения.

Ага, ворона.

## Глава 9 Чугунные незабудки

Лежал дома немного исклеванный.

Едва я выбрался из-под проволочных гнезд, как вороны накинулись на меня всей своей стаей. И оказалось, что клюют они вполне себе ощутимо. Во всяком случае, когда я оказался уже на земле, целых мест на мне осталось немного. Птицы растрепали куртку, разорвали комбинезон и сильно избороздили голову, так что пришлось срочно разогреть клей и замазывать им все порезы. Это, кстати, важно, кожа на голове в местах повреждений частенько нарастает диким образом, поэтому даже самые мелкие порезы лучше всегда заклеивать.

И вот я едва-едва заклеил порезы и пораны и сидел, чувствуя, как смола стягивает шкуру на голове, как вдруг заявила Костромина. Не одна. С собакой Кузей.

— Кузя выздоровел, — сказала она. — А ты как?

Понравилось на билдинге?

— Ага... — машинально ответил я, потому что все мое внимание сосредоточилось, само-собой, на Кузе.

Кузя был...

Обычной собакой. Непонятной породы. Не слишком высокий, не слишком низкий, с довольно длинной голубоватой шерстью, закрывающей глаза. Он был как раз такой собакой, какой должны были быть все собаки. Собачистой.

Конечно, Кузя меня испугался здорово. Тут же спрятался за ноги Костроминой и выглядывал из-за них с настороженностью, немного подвывал и дрожал корпусом. А Костромина принялась сразу приговаривать дурацким неестественным голосом, советовать ему меня не бояться, я не такой уж и страшный, и в случае чего она Кузю от меня защитит и все такое.

Но Кузя на эти уговоры не поддавался, вертелся, желал сорваться с поводка и сбежать. Тогда Костромина велела мне проявить по отношению к Кузе хоть какое-то гостеприимство, а не стоять, как мумия.

Я стал усюсюкать и улюлюкать, часто видел, что люди в кино так с собаками разговаривают, и это, как ни странно, подействовало, Кузя немного успокоился, во всяком случае, перестал выть и пытаться удрать, просто сел, низко наклонив голову.

Дрожать не перестал.

— Вот видишь, — сказала Костромина. — Всего можно добиться добрым словом и человеческим отношением. Если только захотеть. Вот, допустим, тебе понравилась Света...

— Мне? Понравилась Света? — к.б. удивился я. Нет, мне Света, конечно, понравилась — как она мне могла не понравиться? Но ведь Костромина имела в виду совсем другое.

Костромина серьезно кивнула.

— Вот ты прислушайся к себе — и поймешь: она тебе нравится, — заверила меня она.

— Да не...

— А ты прислушайся, — настаивала Костромина. — Ты обещал!

Костромина сощурилась.

— А как прислушаться-то? — спросил я.

После этих приключений на вышке я совсем стал туго соображать. Не соображалось. Надо бы денек перерыва...

— Кстати, где это ты так? — Костромина кивнула на заклеенную голову.

Мне почему-то стало стыдно признаться в том, что меня покусали вороны, и я сказал:

— Да с велика упал. После соулбилдинга возвращался, переднее колесо сложилось. Вот...

Потрогал пальцем лысину.

— Понятно. Но это тебя не освобождает. Давай, прислушайся. Это просто. Закрой глаза, представь Свету и почувствуй.

— Да мы же не можем...

Костромина изобразила нетерпение.

— Ясно, что не можем. Но мы можем представить, что это такое. Ты что, зря совсем на билдинг ходил?

— Нет, не зря...

— Вот и докажи. Представь Свету и представь, что ты мог бы почувствовать при ее представлении.

Сложно. Особенно после поклевания воронами.

Но я послушно закрыл глаза и стал представлять.

Света. Красивая. Человек. Человек. Вот она стоит перед доской. Одна. Маленькая. Слабенькая. Сердце колотится, как у птички. Человек. Если упадет — больно, если ушибется — синяк, если свернет шею — то все, умрет. Если упадет с десяти метров, тоже умрет. Как ваза. Легко разбить, легко поломать.

Ничего. Я не чувствовал ничего. Как всегда.

— Чувствуешь? — строго спросила Костромина.

— Да, — сказал я. — Чувствую. Вроде как сердце...

Я потрогал за сердце. Ну да, за сердце, слева.

— Я же говорила. — Костромина схватила меня за руку.  
— Говорила. Сердце ускоряется.

С утверждением. Но и с опасением тоже. С опасением, что оно не ускоряется, что это я прикидываюсь.

— И что? Стучит, допустим.

Я все никак не понимал, что Костромина хочет мне сказать.

— Ты влюблен в Свету.

Вот что она хотела мне сказать.

Так.

Костромина наклонилась и взяла с пола Кузю. Кузя послушно устроился на коленях, посматривал на меня волком, маленьким таким волком.

— Я? Влюблен?

— Ну конечно. Ты влюблен в Свету. Все симптомы налицо. Учащенный пульс, расстройство сна...

— Я и так никогда не сплю, — напомнил я.

— Это совершенные частности. — Я говорю о симптоматике, а не о ее причинах. Пульс-то участился?

— Ну да... — растерянно согласился я. — Вроде...

Вроде да, ускорилось. Хотя это вполне могло случиться от клея. Клей начал впитываться в голову, голову стягивало и скручивало, и от этого, наверное, запустилось сердце. Но я не стал разочаровывать Костромину, пусть думает.

— О чем я тебе и говорю, — заключила Костромина с удовольствием. — Сердцебиение — верный признак. Ты влюбился, Поленов. Не пугайся, это нормально, все мальчики влюбляются в девочек.

— Я не мальчик, — буркнул я. — Я вупер. Вуп. Вупырь. Вурдалак.

— Вупырь, но все равно мальчик. А она девочка. К тому же человек. И все человеческое, что сохранилось в тебе, потянулось к ней. Все просто. Все естественно.

Костромина была довольна. Просто радостна. На радостях так свою псинку стиснула, что та даже пискнула протестующе и несильно цапнула за руку. Костромина вздохнула.

— Скажи, Поленов, как это? — спросила Костромина.

— Что как? — не понял я.

— Быть влюбленным? Мне интересно.

Как-то странно она была сегодня настроена. Лирически. Наверное, много читала про любовь над хрустальной бездной.

Я попытался понять. Для себя понять. Что это значит. Опять представил Свету, вспомнил ее стереоскопическую фотографию.

— Не знаю, — признался я. — Сердце вроде бы стучит. И это...

— Отлично! — перебила Костромина. — Тебе очень повезло!

— В чем же?

— В том, что ты все-таки влюбился в Свету. Понимаешь, Поленов, тут для тебя сплошные плюсы.

— Какие это?

— Во-первых, ты очеловечишься. Может быть... В какой-то степени. А это здорово. Вот ты кем в жизни стать хочешь?

Я не знал. Вернее, никогда не задумывался. Кем стать. Кем тут станешь, когда и так уже стал? Вернее, уродился. Спасибо папе, спасибо маме, спасибо Погробиньскому. Родиться вампиром — судьба. Проклятие то есть.

— Всю жизнь велики гнутые по бульварам собирать думаешь? — усмехнулась Костромина. — А если повезет, на заводе каком работать. Наверное, ты сможешь. Болты выгачивать, гайки накручивать. Или на погодной установке. Каждый день одно и то же, и так триста лет. Или четыреста, если не повезет. Как перспектива?

— Не очень.

Действительно, не очень. Не замечал, что отец выглядит счастливо. Скорее наоборот. И мать. Про дедушку в подвале я уж и не говорю. Отец, кстати, дома совсем не появляется, наверное, я его последний раз полгода назад видел. Мать чаще заходит, но дома ей плохо, сидит в тоске, я боюсь, что она в аут выпадет, поэтому совсем не настаиваю, чтобы она появлялась чаще. Пусть лучше работает.

— Света откроет для тебя перспективы, — сказала Костромина.

— Какие еще перспективы?

Я не думал о перспективах. У нас почти никто не думает о перспективах. А что о них думать? А точить гайки — это неплохо, не каждому удастся на гаечный завод устроиться.

— Если ты подружишься с человеком, то люди на тебя внимание обратят.

— Ну? — глупо спросил я.

— Что ну, я тебе не лошадь, — огрызнулась Кострома. — Люди обратят на тебя внимание, может, на Новую Землю возьмут.

— Зачем мне на Новую Землю?

— Как зачем? От нас может быть пользы много! Конечно, мы ничего не можем изобрести, конечно, мы туповаты, но зато в космосе мы можем быть первые. На Меркурии, допустим...

Костромина все-таки хочет на Меркурий. Я подружусь со Светой, я влюблюсь в Свету, Света возьмет меня на Новую Землю. А оттуда в космос, на Меркурий. А я ее не забуду. Костромину. Мы встретимся на Меркурии, возле вулкана, там наверняка есть вулканы.

— А это... — спросил я. — Энтропия? Как же энтропия?

— Ерунда. С этим можно справиться тренировкой, основы соулбилдинга, ты же знаешь. Главное — хотеть. Нас на Марс можно легко посылать, на Меркурий. Ты полетишь на Меркурий.

Что я там забыл, на Меркурии этом?

— А тебе-то что? — довольно грубо спросил я.

— Как это что? — удивилась Костромина. — И мне от этого сплошные плюсы. Ты мне тоже поможешь. Потом. Я хочу обратиться, я же тебе говорила, Новый год, мороженое, все такое... Ты про новую сыворотку слышал?

— Нет.

— Ходят слухи, что сыворотку разрабатывают, — сказала Костромина. — Против вупыризма. Пара укольчиков в голову, немного помучаешься — и все, человек. Лет через десять, глядишь, и синтезируют. И, само собой, эту сыворотку станут распределять между самыми достойными. Между тобой, между мной...

— Я же на Меркурий полечу, — напомнил я. — Зачем мне сыворотка? На Меркурий в таком виде удобнее.

— Ну конечно, полетишь, — согласилась Костромина. — А потом обратно прилетишь. И тебя уже сделают человеком. Знаешь, как это здорово — человеком быть. Сплошное удовольствие.

— Ну, может... — я пожал плечами. — А если меня не возьмут?

— Слушай, Полено, не разочаровывай меня! — строго сказала Костромина и опять сжала Кузю до писка. — Оставь всю эту свою демагогию! Может, возьмут — может, не

возьмут... Ты должен попасть на Новую Землю, должен отсюда вырваться. Ты просто обязан. И потом — у тебя больше нет другого выхода — ты уже влюбился в Свету, отступать поздно. Или ты хочешь, чтобы на Меркурий полетел этот дурак Беловоблов?

— Не хочу.

— Тогда и не спорь со мной, делай, как я говорю.

— Ладно, — согласился я. — Хорошо.

И на самом деле хорошо, подумал я. Так вот жить надоело. Сумерки, дождь все время с неба капает, сыро. В кровати мокрицы заводятся. Между пальцами грибок. Зубы отрастают, гематоген паршивый, тошнит от него бесконечно. Синтетический. Только синтетический, только с отвращением, это все понятно, но все равно тошнит. Тошнит, тошнота — главное мое чувство.

И так вечность. Лучше в люди. Если на самом деле эту сыворотку сделают, стану лучше человеком. Потом дедушка, он тоже очень хочет перед смертью стать человеком. Стать человеком, распутать бороду, умереть навсегда. Будет рад услышать.

— Ладно, — повторил я. — Влюбился я в Свету, чувствую. Только я не знаю, что там дальше. Что делать то есть. Опыта-то...

— Не переживай, — успокоила Костромина. — Опыт тут не главное. Возьми этого Беловоблова — молодец. И с грузовиком, и с барабаном, в четвертый раз восхищаюсь. Девушки... Ну, я имею в виду, нормальные девушки, они обожают тех, кто их спасает. Вот смотри.

Костромина вытянула из кармана книжку «Необузданная Роза», с красными розами на обложке. Розы на обложке выглядели не то чтобы уж совсем необузданно, но все-таки слишком уж подозрительно, чересчур красными, я на всякий случай спросил:

— Бладфикшн?

— Ты что, дурак? — оскорбилась Костромина. — Не поганое, обычный лавбургер, все законно. Граф Дюк Арсино спасает Виолетту Сперроу от нападения грабителей. А это на

самом деле не Виолетта, а ее переодетый брат Себастьян... Или наоборот... Короче, граф Арсино влюбляется.

— В Себастьяна, что ли? — тупо спросил я.

— Да нет, в Виолетту, переодетую братом... А кто их разберет. Но тоже спасает. Надо спасать, Поленов, спасти — это главное. Девушки, они немедленно влюбляются в своих спасителей... Или в мучителей?

Костромина задумалась, видимо, вспоминая.

— Нет, все-таки в спасителей, — уверила Костромина. — Тебе надо ее спасти.

— Как это?

— Ну, можно, как Беловоблов, — с грузовиком. Тут даже ничего придумывать не надо, главное, все точно рассчитать. Я поеду на грузовике, буду Свету давить, а ты спасать станешь. Попробуешь ее выдернуть.

— А если промажем? — спросил я.

Костромина вздохнула.

— Ну, или по-другому как спасти ее надо. Допустим, Света пойдет гулять, а на нее вупы нападут. Штук пять.

Тут я чуть не рассмеялся. Костромина явно перечитала книжек. Перегрелась. Вон и Кузю стиснула так, что он посинел почти.

— Какой дурак на человека нападет? — удивился я. — Где ты такого идиота отыщешь?

— Да нет, не по-настоящему, конечно, понарошку.

— Да даже понарошку никто не согласится, — сказал я.

— А если найдешь какого совсем уж слабоумного, допустим, братьев Сиракузовых, то все равно... Да и не поверит она. Знаешь, мне показалось, что Света совсем не дура — она же человек. Она сразу догадается, в чем тут дело, что это все подстроено.

Костромина задумалась.

— Ты, наверное, прав, — сказала она. — Вообще, конечно, спасание в нашем мире изрядно обесценено. Кого мы можем спасти, если сами спастись не можем?

Изрекла Костромина. Было видно, что эта фраза ей самой очень понравилась, однако в блокнотик не записала. Но я запомнил. Печальная фраза.

— К тому же грузовик Беловоблов уже занял, — вздохнула Костромина. — Согласись, если на нее второй раз за неделю наедет грузовик, это будет как-то подозрительно.

Костромина погладила собаку Кузю по голове, почесала ее бок.

— Это не подозрительно будет, ее сразу заберут обратно, — сказал я. — Наша школа боролась за человека сколько лет — и на тебе. В первый же день человека чуть грузовиком не задавили. Нет, Свету сразу же заберут обратно. Хорошо, чтобы Сиракузовы еще не влезли. Со своими балконами...

Я замолчал. Поскольку представил ужасную картину. Как братья Сиракузовы, тщась поразить Свету в самое сердце, готовят какой-нибудь там рояль. В кустах. Не зря же есть поговорка, наверное, раньше кого-нибудь роялем из кустов задавило.

Не грузовиком, так роялем. Не роялем, так балконом.

Видимо, Костромина подумала так же.

— Я об этом, конечно, не думала, но, видимо, ты прав. Эти дураки могут на Свету как-нибудь... неправильно воздействовать.

Неправильно воздействовать балконом. Конечно же.

— Надо установить дежурство, — сказала Костромина. — Возле Светино дома. Как только она приедет, так сразу. Пока эти дурашлепы не начали свою глупую любовь демонстрировать. Нет, ты только подумай, какие хамы и бестолочи!

Мне это уже совсем не понравилось. На самом деле, с чего это Сиракузовы, или сросшийся Беловоблов будут выказывать Свете свои глупые любви? Сиракузовы дураки, а Беловоблов...

А пусть Беловоблов идет подальше мелкими шагами и бьется головой о стену.

— Да разве могут они любить? — к.б. возмутился я. — Разве могут они... Они только... Они... Дежурство — это хорошо.

— Отлично, — обрадовалась Костромина. — Вообще, Поленов, держись меня, Буратиной станешь.

Это у нее тоже такая шутка. Сама пошутила, сама посмеялась.

— Угу, — согласился я. — А может, сразу дежурить начнем? Сейчас прямо? Чего откладывать? Она придет, а ей скажут, что я тут уже неделю под окнами стоял. Заранее.

Кострома помотала головой.

— Не пойдет, — сказала она. — Совсем не пойдет. Кто ей скажет? Там же на улице не живет никто. Стой не стой, ничего не выстоишь. Но ты все равно должен себя проявить. Беловоблов сделал ход, теперь ты обязан нанести ответный удар. Что-нибудь такое...

Костромина опять сжала Кузю. Так она его совсем затискает, надолго его не хватит.

— Ты бы животное отпустила, — порекомендовал я. — Оно не резиновое у тебя, затискаешь, жалко.

Кострома спохватилась, отпустила собачку Кузю, и та немедленно спряталась под стулом.

— Они грузовиком, а ты наоборот должен, — заявила Костромина.

Я сразу даже не прикинул, как это — наоборот? Что может быть наоборот грузовика? Локомотивом все-таки? Или...

— Подводной лодкой, что ли?

Иногда начинаю тупить. Это тоже проблема. Вупы туповаты. Не все поголовно, но есть. Это оттого, что кровь циркулирует не постоянно, а порциями. Иногда как отольет, так хоть в мясорубку голову суй — не думается. А иногда ничего. А бывает, что пульсацией, минуту тупишь, пять минут вроде ничего, думаешь.

— Эх ты. — Кострома с сочувствием погладила меня по затылку. — Эх ты, дурачочек. Подводная лодка... Женщины любят цветы, героев и бриллианты, подводные лодки тут ни при чем.

Она потрясла «Необузданной Розой».

— Бриллианты? — усомнился я. — Кто же их любит?

— Бриллианты, да... Раньше девушки любили бриллианты, сейчас они никому не нужны вообще, ты, пожалуй, прав. А вот зато герой у нас уже есть, это Беловоблов, если он ее спасет, конечно. А он спасет, Груббер — упорная...

— У него позвонки сросшиеся, — сказал я. — Он головой вертеть не может.

— Это теперь неважно, сросшиеся, разросшиеся, герою все простительно, кроме дурного запаха изо рта. Так что по части героизма ты уже рискуешь не при делах оказаться, дорогуша.

— Да...

— Остаются цветы.

Цветы. Я потрогал голову. Клей уже почти засох, палец не прилипал, нормально. Часов через пять засохнет окончательно, и можно будет его обколупать. Цветы — это красиво. Ладно, если не герой, тогда цветы.

— Ты что-нибудь в цветах понимаешь? — спросила Костромина.

— Нет. То есть в самых общих чертах. Цветы любят свет...

Вообще-то у нас возле дома растут цветы. Маленькие, розово-синие, с острыми листочками, про себя я называл их клевером, иногда вьюном. В старом пластиковом тазу, очень неприхотливые. Но что-то мне подсказывало, что такие цветочки не очень понравятся Свете. К тому же сейчас зима, они по этому поводу завяли, но потом, наверное, расцветут.

— Я тоже в цветах не очень, — призналась Кострома. — У нас на соулбилдинге курс цветов только в марте начнется. Но тут ничего особенного, цветы они и вообще цветы. Главное, что они должны быть живыми, в этом их основная ценность. Понимаешь, Полено?

— Понимаю. Сейчас с живыми цветами плохо, сама знаешь. Летом возле болота можно набрать, там ландыши растут...

— Ландыши не ландыши, а цветы должны быть цветами, — заключила Костромина. — Яркими. Розы, тюльпаны там. Гвоздики всякие. Идеи какие-то есть?

— Гвоздики...

Я почесал голову. Гвоздики. Какие гвоздики в нашем городе? Тут дождь все время, слякоть, влажность, разве что на старом кладбище, там что-то растет. Флоксы или мимоза, белые. Но не сейчас опять же, сейчас зима.

— На кладбище есть цветы, — сказал я. — Там труба проходит, теплотрасса. Если под ней поискать, то наверняка есть. Там тепло и влажно.

— Нет, Поленов, с тобой далеко не уедешь. —

Костромина погладила Кузю. — Кто же девушке дарит цветы с кладбища? Эх ты... А еще на Меркурий лететь хочешь.

Я глупо улыбнулся.

— Слушай меня, астронавт. Знаешь, где Трубная улица?

— Кто ж Трубную не знает? Возле реки, там, где порт старый. Знаю улицу.

Ее Трупной все, само собой, зовут. Трупная улица, город Смертозаводск.

— В самом конце там живет один любитель, — сказала Костромина шепотом. — Фамилия у него... Фамилию я не помню, а дом у него ближний к Старому мосту, мимо не пройдешь. И сад рядом. В саду цветы растут, в теплицах.

— Зачем? — не понял я.

— Что зачем?

— Цветы ему зачем? Странное увлечение.

— Тянется к прекрасному, хочет стать выше. Пойдешь к нему, сорвешь цветы, составишь букет.

— А сколько цветов в букете должно быть?

Костромина задумалась.

— Не знаю, — сказала она где-то через минуту. — Не знаю, сколько должно, знаю, сколько не должно. Четыре. Это знак смерти. Сорви штук семь... Только клыки лучше подточи.

— Так я пилил недавно.

— Опять отросли. Подточить надо. Поленов, ты что себя так запускаешь?

— Так как я подточу? — растерялся я. — У меня точило сломалось...

— Ладно, иди так, — сказала Костромина. — Сорви семь штук и подари.

— Кому? — не понял я.

— Свете.

— Какой Свете? — я не понял еще сильнее. — Она же еще не приехала.

Некоторое время Костромина смотрела на меня, как на дурака. Как на сумасшедшего.

— Понятно, что не приехала, — усмехнулась она. — Но ты все равно иди.

— Зачем?

— Потренируйся. А как Света приедет, ты будешь уже совсем подготовлен, ничто тебя не смутит, не растеряет.

— Ты уверена? — неуверенно спросил я.

— Абсолютно. Беги. Правда, Кузя?

Про Кузю мы совсем забыли, он тем временем залез под стол и напрудил там целую лужу, наверное, этим поступком он тоже намекал, что надо мне бежать.

— Беги-беги, — повторила Костромина.

Я уже было сорвался, но тут вспомнил. Сунул руку в карман, достал резиновую мышь, кричащую не своим голосом. Взял и протянул ее Костроминой.

— Это что? — спросила Костромина.

— Мышь. Но она неправильная только.

— В каком смысле?

Я взял и сжал мышь, и она запищала пронзительным голосом, хотя раньше всегда крикала, я ведь точно слышал. Для убеждения себя в этом я еще несколько раз сжал мышь, и она снова пискнула.

— Она раньше крикала, — сказал я. — Точно крикала.

— Раньше крикала, сейчас не крикает. Это мило. Спасибо. Конечно, это не букет роз, а подержанная каучуковая мышь... Но все равно. Приятно. Поленов, я вижу, что ты все-таки на верном пути, ты меня радуешь. Беги.

Костромина взяла мышь, подержала ее в руках и спрятала в карман.

А я побежал.

По пути я думал о том, что сегодня выдался беспокойный день. Школа, потом соулбилдинг с вышкой, потом Костромина с Кузей, теперь вот за цветами бегу. Существование как-то ускорилося, непривычно и непонятно. Кузя не произвел на меня особого впечатления. Вот теперь бежал. Ну, не очень далеко, конечно, я убежал — наткнулся на велосипед. Мощный, современный, и всего-то руль свернут, наверное, девчонка

бросила, чинить не стала. Я быстренько выправил руль и покатил на Трубную.

Было часов девять, рабочий день закончился, на улицах было уже достаточно много народа, который бродил туда-сюда, возвращался домой или наоборот, заранее двигал на свою смену или просто не знал, что ему делать. Мне приходилось между ними лавировать, пару раз я сшибал незнакомых вуперов, пару раз они меня сбрасывали на асфальт, и один раз я едва не угодил в люк, который забыли закрыть. Город я пересек минут за сорок, это было неплохим результатом для вечера и дождя.

Трубная тянулась от Соленого холма в сторону запада, я, с трудом удерживая баланс на скользкой брусчатке, катился вниз. У подножья холма случилось-таки зловещее — штаны затянуло в цепь, колесо заклинило, меня швырнуло вперед, я пролетел метров десять, в лязге, воде и грязи. Сел.

Передо мной текла река. Завод металлопластики на противоположном берегу сбрасывал в реку теплую техническую воду, и здесь было теплее, чем в городе. Снега здесь совсем не было, даже единичных снежинок, только дождь. Он заливал город, реку, рыбаков на серой песчаной отмели, и далекое Заречье на излучине, и лес, черный и понурый от воды. Над лесом парусами взвивался туман, а еще за туманом проглядывал свет от уже севшего солнца, и над ним плясала вечерняя радуга, розовое пространство, распиленное на семь ярких полос, все это называлось красотой. Каждый год к нам приезжали художники, наши, вупырские, а два раза даже настоящие, люди. Они устраивались здесь, на Набережной, и рисовали радугу, а мы прибегали смотреть — и висели на Старом мосту, глядели, как художники рисуют водоустойчивыми красками и как дождь эти краски все равно размывает, как этюдники плачут как будто разноцветным счастьем.

Наверное, зимняя радуга была единственным, что оправдывало существование нашего города. Именно из-за нее река еще текла, болота не выплескивались на нашу сторону, а солнце всходило.

Сейчас художников на реке не было, но я все равно представил эту красоту, попробовал уцепиться за нее, но, как

всегда, у меня не получилось ничего. Я, как всегда, увидел лишь реку, серую, холодную, в пузырях дождя, коричневую глину, скучные камни, пар, идущий над водой, у Старого моста дом со съехавшей набок крышей, парник, похожий на стеклянный куб.

Видимо, в этом доме и обитал цветник. Цветовод то есть. Мастер георгинов.

Забора никакого не виделось, и вообще никаких укреплений, я вдруг подумал: а что, если пойти к этому цветочному вуперу и просто попросить? Дай цветочек, а? Но потом почти сразу подумал, что выпрошенные цветы наверняка не имеют такой ценности, как цветы, похищенные во имя любви, и решил не идти прямым путем.

Я стряхнул с себя остатки велосипеда, хорошенько размахнулся и зашвырнул их в реку. Потом двинул к парнику. Парник пробил головой — почему-то мне показалось, что делать надо именно так. Пробил и проник внутрь. Тут было тепло и влажно, под прозрачным потолком тянулись горячие трубки, на которые капала вода, отчего в парнике создавалась тропическая атмосфера.

Цветы.

Много цветов. В цветах я не разбираюсь. Как-то раз, лет, наверное, много назад, отец вдруг принес матери цветы. Кажется, наступил какой-то древний праздник, и отец взял и подарил матери букет. Пять цветков, такие длинные, вроде бы тюльпаны, но не тюльпаны, с каким-то названием. Мать не знала, что с ними делать. Понюхала зачем-то, потом прижала к груди. Потом побежала к Лужицким, за луком, и почти полчаса натирала глаза — слезы все-таки побежали. Вот именно такие цветы я увидел первыми, белые, как тюльпаны.

Тут были и настоящие тюльпаны, оранжевые, с сочными зелеными листьями, пахшими горькой травой.

Тут были белые цветы, похожие на большие ромашки, примерно такие, кстати, растут под трубой на кладбище, но эти, конечно, больше и тоньше.

Розы еще — их я знал по обложкам книг про любовь, нежность и беззаветность. В парнике было много разновидностей этих роз, и холодные синие розы, как

сгущенный ветер. И простые, и кругленькие аккуратные розочки, напоминавшие маленькие бочонки. И богатые алые розы, сочные, на которые хотелось не только смотреть, но которые хотелось и пожевать, с капельками росы.

В парнике было много цветов, которых я вообще не знал. Такие высокие розовые цветы, напоминающие глубокие кувшины, и лохматые бархатистые цветочки, и мелкие, с виду упругие шарики, и крупные шары, и еще другие-другие. Много всего, видимо, цветник с Трубной был настоящим ценителем, знатоком и цветочным аматером. Поэтому я решил набрать побольше всяких цветов, потом уже разобраться. Для начала выбрал ромашки.

Размял пальцы — с цветами нужна осторожность, я помнил это по бумажным цветам, выбрал цветок, взял за стебелек. Он должен был оборваться, но он только вытянулся, сразу на полметра, и желто заблестел. Я дернул сильнее.

Стебелек все-таки оборвался.

Проволока. Медная. Лепестки цветка осыпались, оказались пластмассовыми, ненастоящими. Я попробовал еще. Обманные ромашки. Подумал, что это шутка, сразу, дурак, не догадался, к розам потянулся.

Розы оказались бумажными. Желтые цветочки вырезаны из материи, цветы-шарики были стеклянные, они крошились от первого прикосновения, и крупные шары тоже, но хуже всего обстояло с тюльпанами. А синие цветочки были совсем хитрыми, я никак не мог их сорвать, пришлось приложить силу. Стебли сломались, из-под краски показался черный металл.

Железные.

Я представил. То есть мне было видение, кажется, это так называлось. Как я стою возле дома Светы с железным букетом, сверху падает дождь, а я пою какой-нибудь романс про лампу, которая не горит. И Света, этим романсом очень растрогавшаяся, открывает мне дверь. А я протягиваю ей чугунные тюльпаны. Она еще дальше растрогивается, или растрагивается, не знаю уж, как там. Короче, трепещет вся от удивления, букет принимает, а он бряк, слишком тяжелый. И все ноги отдавило.

Света вопит, а я как дурак. А я как всегда. Красиво. Здорово. Такая вот лубоф, такие вот тюльпаны.

Вздохнул я, огляделся. Гляжу — цветочек. Такой красненький, незнакомой формации. Произрастает в кадке расписной. Самый-самый симпатичный, просто рододендрон, араукария какая-то, я такие цветы и на обложках книг даже не видел. И вроде как настоящий. Самый, что ни на есть, не пластик и не алюминий, так мне показалось. Прыг я к нему, руку протянул, прихватил, а тут и зазвенело. Сигнализацию к цветочку провел садовод, хорошо хоть электричество не подключил. Но мне что, я цветок цап...

А он у меня в руке и рассыпался, одна каша разноцветная осталась, прах и сок, перестарался, идиот, пережал. Надо было хоть потренироваться заранее на бумаге.

Можно, конечно, компенсаторы использовать. Перчатки, ботинки или вообще костюм целый. Демпферы, сервоприводы с обратной тягой, надеваешь все это на себя — и можно почти как человек ходить. Только опасно — мышцы начинают против серверов работать и еще больше от этого укрепляются. И в один прекрасный день демпферы перестают справляться, костюм разлетается, и ты становишься в два раза сильнее и в полтора раза больше. А катаболизма у нас нет практически — стал сильнее — будь сильнее и дальше, видел я таких вуперов демпфированных, в двери не пролазят.

Жалко цветочек, раздавился. Нет, дурак все-таки. Но я не виноват.

Надо было убежать. Спасаться потихонечку. Так полагалось. Красть цветы — это вам не то чтобы... Это вам... Одним словом, если ты воруешь цветы, можешь быть побит разгневанными цветоводами.

Я вытер руку о комбинезон и побежал прочь к.б. с грустью в сердце.

— Стой, — равнодушно крикнули со стороны дома.

Так крикнули, для порядка, кричавшему было совершенно все равно, остановлюсь я или нет, он просто отработывал свою роль, а я отработывал свою. Я поспешил, сделал спиной вид, и тут же грохнуло. Цветочник стрелял по

мне из ружья, все как полагается. Жвырк над головой, пороховой запах, и еще серебро.

Приятно. Я читал, что раньше, когда люди лезли воровать яблоки или другие ценные фрукты, по ним стреляли солью, такова традиция. Вот по мне теперь тоже стреляют, я теперь тоже почти как человек. Не солью, конечно, серебром. Серебряной дробянкой.

Больно не было, но я прекрасно понимал, что ничего хорошего в этом нет. Конечно, вупа серебром убить нельзя, я уж говорил, ну, разве что посадить его в бочку и этим серебром сверху залить. А так...

Так чешется. Очень сильно. Просто очень. Если учесть, что дробь попала не совсем в приличное место...

Одним словом, бежал я гораздо быстрее, чем обычно.

Прибежал домой. Костромина и Кузя уже ушли, дома было пусто и никак. А мне хотелось поговорить, то ли от дробин, угодившей в меня, то ли от чувств. Но не с кем. Хотел посидеть, но оказалось, сидеть щекотно и нельзя, поэтому лег на живот и стал думать. Что со всем этим делать. То есть как, собственно, выковыривать. Если вырастет, будет дальше жить совсем неудобно, как ни сядешь — жжение, а то может и загноиться, тоже неприятно. Так что лучше выковырять. Пинцетом или ножом. А может, вилкой. Хорошо, что Костромина ушла, а то перед ней неудобно было бы. Ходил за цветами для любимой и вроде бы пострадал за любовь, однако пострадал столь ироничным способом, что лишний раз и не вспомнишь.

Я взял небольшое обычное, не электронное, зеркало и завел его за спину. Оказалось, что эта часть корпуса отражалась вполне неплохо. В отличие от лица.

## Глава 10 Звезды Нептуна

Про дельфинарий мне Лужицкий сообщил. Рассказал.

Заявился с утра в субботу, как всегда, рано, но почему-то с лопатой. Вошел, упал на пол, некоторое время лежал лицом вниз, потом перевернулся на спину, лопату из лап не выпустил, наверное, хочет казаться оригинальным. И этот туда же.

Наверное, думает, что этим он привлечет к себе внимание Светы и в ее лице всего человечества.

Я его спросил, зачем ему эта грязная и отвратительная лопата, а он посмотрел на лопату и сказал, что не помнит. Задумчиво так посмотрел, потом сунул ее мне. Хочет быть оригинальным.

— Дельфинарий приезжает, — сказал он.

— Как? — не расслышал я.

— Дельфинарий, — повторил Лужицкий. — То есть он уже приехал, сегодня первое выступление.

Он снова взял лопату и стал ее сворачивать. То есть не всю лопату, а лезвие, туда-сюда, туда-сюда, в рулон. Нервничал к.б. немного, видимо. Или задумался.

— Дельфинарий?

— Ага. Рыбы такие дрессированные. Прыгают там, мячами жонглируют.

Лужицкий лежа подпрыгнул несколько раз, опять согнул лопату, лопата не выдержала, сломалась, Лужицкий выкинул ее в окно.

— Дельфины — это животные, — поправил я. — Не рыбы. Они просто дыхание задерживают.

— Вот я и говорю, — кивнул Лужицкий. — Животные подводные и тренер вместе с ними. Показывают представление в старом бассейне. Ты ведь бывал в старом бассейне?

— Бывал.

Ходили с экскурсией, смотрели, как раньше спортом занимались. Кстати, бассейн назывался «Дельфин», там они и на стенах были нарисованы, черные и улыбающиеся. А теперь вот настоящие дельфины приезжают. Значит, надежда есть.

— Туда уже воды налили и стены покрасили. Тренер вчера тренировку произвел.

— Тренер? — спросил я.

— Ага, — кивнул Лужицкий.

— В смысле, человек? — тупо спросил я.

— Конечно, человек, — ухмыльнулся Лужицкий. — Что ж ты думаешь, кто-то из нас может научить дельфина?

Это точно. Дельфин нас к себе на пушечный выстрел не подпустит.

— Дельфинарий на две недели приезжает, между прочим, — сказал Лужицкий. — Вход свободный, в приличной одежде и сапогах. У тебя есть приличная одежда?

— Есть, — ответил я. — А у тебя?

— У меня тоже, мы прабабушку недавно закапывали, костюмы пошили. Но я на дельфинов не пойду.

— Почему?

Лужицкий пожал плечами.

— Зачем? — спросил он.

— Интересно же, — ответил я.

— Кому? Тебе интересно? Если по-честному?

— Интересно, — кивнул я. — Это должно быть интересно, а значит, это интересно.

— А с чего ты взял, что это должно быть интересно? — допытывался Лужицкий.

— Это интересно, — сказал я увереннее. — Об этом все знают. Раньше везде было полным-полно дельфинариев, я читал. Люди любили дельфинов, любили с ними плавать, целыми толпами приходили поплавать. А если люди ходили на это смотреть, значит, это интересно.

— Может быть, — не стал спорить Лужицкий. — Только все равно не пойму, что в этом интересного? Рыбы плавают, рыбы прыгают.

— Это интересно, — сказал я настойчиво.

— Как знаешь.

Лужицкий лежал.

— Что надо-то? Зачем пришел?

Лужицкий пожал плечами. Странно.

— Дельфины нас ненавидят, — сказал Лужицкий.

Мне не хотелось с ним сейчас беседовать.

— А твоя подружка туда пошла.

— Какая? — не понял я.

— Кострома. Я видел ее.

— Зачем?

Нет, конечно, я понимал, зачем. Дельфины — это очень по-человечески. Да еще тренер... Костромину не могла это пропустить. Меня другое задело — почему мне не сказала? Сидели вчера, говорили про цветы. На вышку лазил, дробь

получил, потом час ее выковыривал, две пары ножниц погнул, все во имя любви, а она меня на дельфинов не взяла.

А я ей еще резиновую мышь подарил.

— Зачем ты все-таки зашел? — спросил я.

— Дельфины очень быстро плавают, — сказал Лужицкий.  
— Очень быстро. Очень-очень быстро...

Все понятно. От Лужицкого ничего добиться нельзя, как всегда. А мне обидно. Могла бы и меня ведь пригласить...

А не надо меня приглашать, я и сам схожу. Может, это проверка у нее такая? Или...

Что «или», я так и не смог придумать, поэтому просто решил сходить сам, посмотреть.

— Дельфины могут съесть в день сорок килограммов рыбы, — сказал Лужицкий. — Сорок килограммов... Сорок... А если их несколько, то они и сто могут сожрать...

Я не стал его беспокоить, пусть лежит, размышляет про то, сколько могут слопать дельфины. Я быстренько оделся в комбинезон поприличнее и поскакал в сторону бассейна. Приду и сделаю вид, что Костромину не узнаю. Нет, не так. Сделаю вид, что знал про дельфинов заранее и решил прийти самостоятельно. А она пусть думает, почему я ее не пригласил, — вот так правильно. Не все Костроминой меня удивлять, я тоже вполне могу. Я еще на соулбилдинг ходить начну, мне вроде понравилось. Вот с этой стану дружить, с той, у которой мышь резиновая. С Турбиной.

Возле бассейна собралась уже небольшая толпа, вупов двадцать. Двадцать вупов — это уже толпа, собрать столько в одном месте в школе-то не всегда получается, а тут вот сами пришли, без сгона. Я еще издали увидел Костромину, она пришла в таком заметном оранжевом спортивном костюме с черными полосами по бокам, и от этого напомнила мне пантеру, видел по телевизору.

Остальные тоже обрядились ярко и разноцветно, чтобы показать, что они все не серая масса, а вполне себе индивидуальности — человек ведь должен быть индивидуален, должен выделяться и идти всегда своей дорогой.

Костромина стояла недалеко от угла здания бассейна. С водостока, как положено, стекала вода, ее отбрасывало от стены

метра на два, вода падала в выдолбленную в брусчатке чашу, вскипала в ней и уже из чаши разливалась по мостовой. Костромина стояла в разбегающемся потоке и поглядывала вокруг через зеленые очки, эти очки как раз очень шли к ее костюму. Я подумал, что Костромина уже совсем плотно живет по заветам соулбилдинга, даже в мелочах старается жить по этим самым заветам, вот могла бы просто встать под дождем, или у стены, или на ступенях, ну, как все остальные вурдалаки стояли, а она нет, выбрала самое буйное место, где вода смешивалась с воздухом и немного со светом. И сама была яркая и красивая. Хотя, как я говорил, тут многие оделись ярко, но чтобы красиво...

Не каждый может. Вот где каждому взять такой роскошный оранжевый костюм и так идущие к нему зеленые очки? Кто-то, конечно, отыскал бордовую юбку и синие кроссовки, но чтобы целый костюм...

К тому же он наверняка настоящий. Еще человеческий.

Я сделал вид, что удивлен, и подошел к Костроминой как бы невзначай.

— Ты тоже здесь? — спросил я.

— Разве можно такое пропустить? — к.б. ухмыльнулась Костромина. — Такое событие. Раз в пять лет, наверное.

— Ну да, интересно, — согласился я. — Дельфины будут прыгать, кольца крутить на носу. Танцевать на воде.

Я немного подумал и добавил:

— Дельфины очень любят рыбу.

Костромина постучала себя по затылку.

— Вот поэтому я с тобой, Поленов, и общаюсь, — сказала она. — Из-за незамутненности. Ты ничего не понимаешь и любишь сообщать об этом вслух. Мне это нравится.

— И чего же я опять такого ляпнул? — спросил я.

— Ты что, совсем ничего про дельфинов не знаешь? — произнесла Костромина зловещим голосом, таким у нас обычно сказки про Погробиньского рассказывают.

— Немного, — ответил я. — Они... в море живут.

Кажется, семьями... Очень быстро плавают. Каждый дельфин съедает в день сорок килограммов рыбы. А два могут съесть сто. Еще они очень быстро плавают.

— И все? — Костромина округлила глаза. — В море плавают, рыбу едят?

Сегодня у нее ресницы, несмотря на дождь, не вываливались, кажется, сегодня она их предусмотрительно водостойким клеем прилепила.

— К нам приезжает дельфинарий, а ты узнал только, что дельфины рыбу едят?

Опять взялась меня отчитывать. Она очень любит меня отчитывать, наверное, в этом тоже есть какой-нибудь созидательный смысл. А может, ей немного стыдно за то, что она сюда пришла, мне ничего не сказав, вот и нападает.

— Дельфины не только рыбу едят, — назидательно произнесла Костромина. — Дельфины — очень тонкие животные, они очень тонко чувствуют. И они друзья человека.

— Все животные друзья человека, — изрек я. — Так им предназначено.

— Не так, — тут же возразила Костромина. — Не все животные друзья. Волки не друзья, львы не друзья, крокодилы не друзья, носороги... Носорогам на человека вообще наплевать. А вот дельфины — друзья. И нас они не любят. Знаешь, почему?

— Потому что мы не люди, — ответил я тупо.

— Нет, — помотала головой Костромина. — Если бы так просто... Они нас не любят не потому, что мы не люди, а потому, что мы могли бы ими быть. Мы — деградация человечества, болезнь, извращение Замысла...

Костромина, видимо, вчера читала. Но не про любовь, а что-то философическое. Какое-нибудь «Оправдание Носферату» или что-то в этом духе, из давнего, когда еще пытались осмыслить. Кстати, «Оправдание Носферату» — интересная книжка, я ее читал, но совсем уже забыл, про что. Кажется, про то, что не стоит уж так преклоняться перед человеком, потому что именно люди виноваты в сложившейся ситуации, что будто бы обратились лишь те, кто был готов к этому, светлые и чистые в вурдалаков не превратились, вроде бы так.

— Именно поэтому мы и не видим себя в зеркале, — пустилась в рассуждения Костромина. — Человек создан по

образу и подобию Его, а мы безобразны. То есть мы не есть образ Его. Поэтому мы себя и не видим.

Знаю. Теория антропологического шока, как же, помню. Это не только в «Носферату», это вообще самая употребительная теория про зеркала. Мы настолько отвратительны сами себе, что мозг отказывается воспринимать зеркальное отражение.

— Мы — нежить, — заключила Костромина. — Любое живое существо стремится отодвинуться от нас как можно дальше. Даже если ты это существо кормишь, и лечишь, и гладишь его. Мы — хуже самого последнего червя...

Это она что-то перегнула. И никакая мы не нежить. Сердце-то вполне себе бьется, пусть и редко. И дыхание есть. И чувства все-таки какие-никакие...

Видимо, у Костроминной опять сложное настроение. Кажется, из-за Кузи. Никак не притрутся друг к другу, видимо. Кузя ее все-таки побаивается, а Костромину это удручает.

Она хочет, чтобы Кузя ее любил.

Все хотят, чтобы их любили.

— Мы — болезнь, — сказала Костромина. — Мы...

Она брезгливо поморщилась.

— Мы никому не нужны, — закончила она. — А дельфины нас попросту убивают.

— Что? — не понял я.

— Да, — кивнула Костромина. — Да. Пять случаев только в этом году. А нападений еще больше. Они нас ненавидят. И если кто-нибудь из нас падает в воду — они тут же разрывают его, как куклу.

Да, кажется, Лужицкий что-то говорил. Что дельфины нас не любят и едят много рыбы.

— На кусочки, — добавила Костромина.

— Зачем мы тогда идем на них смотреть? — тупо спросил я.

— Потому что надо, — ответила Костромина. — Потому что это еще одна песчинка, еще одна капля. Рано или поздно чаша заполнится...

— А если не заполнится? — спросил я.

— Если не заполнится, то нам же хуже, — отрезала Костромина.

Не стал с ней спорить.

— Тут человек будет, — сказал я. — Он дельфинам показывает, что им надо делать...

Костромина поглядела на меня с усмешкой и с сожалением. Я вдруг понял, почему она мне ничего не сказала про дельфинарий. Она хотела посмотреть на человека первой.

Когда приезжает зоопарк, или бабочкарий, то там человека особо не видно. Люди там есть, но они не показываются перед нами. В зоопарке идешь вдоль пластиковых вольеров, смотришь, как животные дрыхнут или как они едят — вот и все, никаких тебе людей. В бабочкарии тоже — ты сидишь пять минут, а бабочки вокруг тебя порхают, ползают по тебе, а ты не шевелишься, чтобы их не повредить. А здесь все по-другому, наверняка. Тренер будет выходить, и на него можно будет посмотреть вблизи.

Костромина хотела узнать, что она при этом почувствует.

На крыльцо вышел вуп в резиновом плаще и в длинном рыжем парике, парик промок и свалялся, издали казалось, что на голове у него лежала дохлая лиса. Вуп достал мегафон и принялся равнодушно созывать публику к чудесному и феерическому представлению, к чуду дрессировки, к небывалому зрелищу.

Костромина улыбнулась и решительно направилась ко входу.

Я за ней поплелся. Известие о том, что дельфины на нас нападают, меня особо не расстроило, я дельфинов вполне понимал. Они столько лет жили в шумном и стремительном мире, в нем были корабли, подводные лодки и морские течения, солнце сияло... А потом вдруг этот мир замолк, и остановился, и встал на колени, выцвел и покрылся тиной. Они поднялись из своих глубин узнать, что случилось, и увидели, что людей больше нет. Те, для кого этот мир был создан, убили себя, и мир остался без хозяев, как брошенный дом, как бездомный пес.

А вместо людей мы. Да.

Мы вошли в здание бассейна. В вестибюле был развернут обязательный для зоопарков, бабочкариев и даже для

террариумов походный кессон. Не обычная сушилка с тепловыми пушками, а установка, в которой в качестве температурного затвора использовались турбины от истребителей.

Пахло хлоркой и горячим металлом, турбины, потрескивая лопатками, вращались на средних оборотах, внутри кессона взрыкивали сирены. Зрителей разбивали на группы по пять человек и запускали в отсек, я хотел войти вместе с Костроминой, но мы попали в разные партии. То есть она так захотела, специально от меня отделилась, не хотела со мной рядом сидеть, хотела на дельфинов смотреть персонально.

В кессоне было сухо. Над головой рывкнула сирена, я закрыл глаза. В потолке и стенах открылись сопла, температура резко повысилась, палящий воздух испарил влагу и сжег эпидермис. Сработали насосы, высосавшие пепел, в который превратился верхний слой кожи. Пуговицы с рукавов у меня еще сорвало, мелкие вещи из карманов высосало, хорошо, что я подарил Костроминой мышь. А то бы ее расплатило. А сама Костромина предусмотрительно правильно пришла в костюме с железными молниями, я бы до такого не додумался.

Снова рывкнула сирена, я сжал глаза плотнее. Сбоку ударили плотные струи жгучего антисептика, на секунду сделалось больно, затем облако холодного воздуха, я вдохнул его и вышел в фойе.

Тут, оказывается, уже тоже собрались вупы, тоже штук двадцать. Они стояли кто как, не зная, что делать.

Волонтер вручил мне памятку на пластиковой карточке, я сдвинулся к стене и сел в выщербленное пластмассовое кресло. После кессона немного резало глаза и чесалось за ушами, надо было немного потерпеть, не расчесывать, чтобы потом прижигать не пришлось. Я терпел.

Хорошо хоть зубы не проверяли. Некоторые передвижные зоопарки не допускают к экспозиции с отросшими клыками, стоит служитель с линейкой — и проверяет, если длинней двух сантиметров, разворачивает в гости к шлифмашине.

А вообще, мы, конечно, не заразные. То есть инфекции и тому подобные неприятности — это не про нас. Бактерии,

вирусы — это все к нам, само собой, не липнет. Микробы ведь тоже не дураки, не хотят поселяться на таком бесперспективном материале. Но вот грибки, плесень, спорынья всякая — это да. За ушами, под коленями, на шее, в складках кожи то и дело заводится всякая дрянь, которую не любят животные, вот и приходится проходить через кессон. Все привыкли.

Костроминой видно не было, наверное, побежала в дамскую комнату переклеивать сплавившиеся ресницы и расчесывать парик. До представления оставалось еще время, и я стал изучать памятку.

Она была довольно обширна, и все в ней запрещалось. Вскликать с мест, размахивать руками, делать другие резкие движения. Проносить рыбу и кормить ею животных (интересно, где следовало эту рыбу брать?). Громко кричать. Прыгать в бассейн. Смотреть на тренера дольше пяти секунд. Прищелкивать языком.

Категорически воспрещались попытки гипнотизировать животных, пытаться дотянуться до их мозга.

Про случаи нападения дельфинов не говорилось ничего, зато подчеркивалось, что все, кто вдруг почувствует себя странно, должны немедленно сообщить об этом ведущему и покинуть дельфинарий для прохождения дальнейшей терапии.

Почувствовать себя странно — это значит ощутить жажду. Такое очень редко, но случалось. Понятно, что никто и в мыслях не мог представить нападение на человека, а вот дельфин... По слухам, где-то под Воронежем один старый и дикий вуп в зоопарке не выдержал и напал на косулю. Разорвал стекло, ворвался в вольер, ну и дальше тоже...

Животное, конечно, спасли, но инцидент получился не очень приятный. Конечно, косуля не дельфин, дельфин сам кого хочешь порвет, но все равно, меры предосторожности никому еще.

Объявили начало представления, и мы отправились рассаживаться по местам. Я хотел все-таки оказаться рядом с Костроминой, но нас отправили по разным углам зала: Костромину в конец, меня ближе. Я устроился на чугунном сиденье и стал осматриваться.

В старый бассейн налили воды, причем не просто какой-то там воды, а с голубоватым оттенком. Вышку для прыганья убрал серпантин, серебряным дождем и гирляндами, бумажными фонарями и резиновыми игрушками, отчего она стала похожа на новогоднюю елку. Зачем украсили вышку, непонятно, но вполне себе для нас характерно. Может, кто-то тоже, как Костромина вот, хотел устроить праздник, только не знал, как это правильно сделать.

Из-под потолка свисали круглые желтые шары, они висели в нескольких метрах над водой и покачивались и поворачивались вокруг себя, успокаивая и убаюкивая.

Сильно пахло солью и рыбой, рыбой еще сильнее. Я удивился, совсем не ожидал, что дельфины пахнут рыбой, с чего это вдруг? Но потом быстро понял, что рыба — это рыба, дельфиний прикорм, они же в море рыбой питаются.

Самих дельфинов видно не было, они скрывались за ширмой, которой была отгорожена дальняя часть бассейна. Но я слышал.

Их было двое. Большие, мощные, тяжелые, я слышал их сердца, их кровь, их голоса. Они говорили. Я совсем не ожидал, почему-то думал, что они молчаливые и суровые, а они болтали напропалую, трепались и, как мне показалось, бранились. Это было похоже на треск облачных разрядов, когда весной приходят веселые грозы, небесное электричество в громоотводах звучит примерно так же.

Дельфины были раздражены и голодны, и, пожалуй, злы, но не испуганны, наверное, они давно перестали пугаться, привыкли. Все привыкают.

Я привык.

Зал бассейна постепенно заполнялся зрителями, это продолжалось долго и уныло, вупы путали ряды, путали места, останавливались и начинали пялиться на шары, или в потолок, или просто в стены, или начинали прислушиваться к дельфинам.

Однако через полчаса все собравшиеся зрители кое-как расселись, замерли в соответствии с прочитанной памяткой и стали ждать. Зал оказался заполнен наполовину, никто не шевелился, и все это сильно напоминало выставку восковых

фигур. И не фигур, а кукол, сломанных, уродливых, жалких. А еще очень хорошо чувствовался контраст.

Между живым и мертвым.

Я отыскал глазами Костромину, она сидела на удобных местах и вроде бы переживала. Точно, Костромина волновалась к.б., сжимала кулаки с громким хрустом, я слышал это издалека.

А я не волновался. Я вообще ничего не чувствовал. Как всегда. Даже то, что скоро перед нами должен был показаться человек, даже это меня не очень будоражило. Я себя за это как-то ненавидел.

Началось.

Оно вдруг началось, как в кино, — раз — и на бортик бассейна вышел необычайно даже для нас тощий вуп во фраке и в цилиндре. Не знаю, где он откопал и то и другое, но и фрак и цилиндр были серьезно помяты и на помятостях отливали железом, отчего казалось, что вуп наряжен в костюм, сшитый из жести. Вуп немного поклонился публике и немного рассказал об афалинах. Где и как они живут, какие они вообще-то умные, как их легко дрессировать. Потом он попросил всех сосредоточиться, предупредил, что в представлении будут участвовать не только животные, но и человек, и велел не болтать.

А мы и так не болтали. Молчали. Хрустели суставами, скрипели зубами, скрипели мозгами, сжимали-разжимали кулаки.

А я вдруг подумал: вот если взять всех нас и как-то выделить из нас ошметки наших душ. Посадить нас в какую-нибудь душедистилляционную машину и выпарить, совершить возгонку. Интересно, всего этого хватит, чтобы составить одну настоящую полноценную душу?

Странная мысль. Станные мысли меня в последнее время одолевают.

Старый вуп отступил в сторону, снял цилиндр. В уши ударил высокий писк, черный силуэт мелькнул у дна, вода расступилась, и в воздух взлетела девушка.

Настоящая.

Человек.

Она точно вынырнула из центра бассейна, взлетела над водой метра на три, стоя на голове дельфина. На секунду она зависла в воздухе, затем сделала сальто и ушла в глубину. Дельфин лениво перевернулся на спину и бухнулся спиной в воду. Он был довольно велик и тяжел и выбил из бассейна волну брызг, окатившую нас с ног до головы.

Мощно.

И не успели мы опомниться, как девушка снова показалась, уже стоя на спинах двух дельфинов. Она плыла по бассейну, дельфины двигались синхронно и точно, как подводные пули, выпущенные из двуствольного ружья.

Я думал, они другие. Люди то есть. Выше. Шире в плечах. Нет, я, конечно, знал, как они выглядят. Все ведь знают, на самом деле они не очень отличаются от нас, только издали можно спутать... Нет, я никогда не спутаю, но если плохое зрение, то можно...

Нет, все равно нельзя.

Люди двигаются совсем по-другому. Мягче. Вот если поставить рядом цаплю и кошку, то мы будем цаплей.

Девушка сделала круг, стоя на спине дельфина, затем ступила на борт бассейна. Она была...

Сразу видно, что человек.

Я должен был думать больше. Тут рядом, совсем рядом, был человек, а я не мог ничего про него подумать. Я хотел бы сидеть на этих креслах, смотреть на воду, на дельфинов и на нее. Я мог, наверное, смотреть на нее...

Год.

Просто сидеть и смотреть.

В черном резиновом костюме, с короткими волосами, которые не отклеились в воде, потому что были настоящими. Девушка улыбнулась белыми ровными зубами и вскинула руки вверх прекрасным грациозным движением.

Невысокая совсем, ростом, наверное, ниже меня. Хрупкая. Это было основным моим ощущением от нее — хрупкость. Она напомнила мне цветок. Да, цветок, проросший сквозь высушенные солнцем коряги. И вокруг этого цветка вертелись два мощных собранных шершня.

Дельфины.

Я думал, что они довольно неуклюжие создания, то есть плавают, машут себе хвостами, а оказалось все не так. Дельфины носились по бассейну, круто разворачивались, выпрыгивали и делали в воздухе кульбиты и сальто.

Девушка свистела в свисток. В разных сочетаниях, два коротких — один длинный, длинный — короткий, два длинных, ну, и так далее. Дельфины подчинялись. Скользили под водой и то и дело отбрасывали тени. Казалось, что они находятся в одном месте, а они за это время успевали переместиться совсем в другую сторону, к противоположному бортику бассейна, а в воде еще некоторое время таял фантом. Говорят, что люди не замечают этого, не видят, что дельфины хитрят, а мы видим. Хотя, может, это они при нас только так себя ведут, с целью маскировки. Или еще с какой целью, не знаю. Дельфинов я не понял, если честно, они были явно себе на уме. Да, подчинялись, да, изображали послушных и дрессированных, но при этом... Прикидывались. Дельфины явно прикидывались. И были готовы. Я так и не понял, к чему, но они явно были готовы.

Постоять за свою жизнь.

Заиграла какая-то веселенькая музыка, песенка про ежика, решившего броситься под самосвал ранним безрадостным утром, но так этого самосвала и не дождавшегося, потому что самосвал наехал на гвоздь и проколол колесо. И едва зазвучали первые аккорды, как из воды поднялась острая дельфинья голова. Дельфин фыркнул и...

Наверное, он крикнул. Точно, крикнул, они ведь не только поют, они кричат.

В моей голове взорвалась бомба из солнца, морского ветра, из холодных брызг и просторов, я оглох и ослеп, мир отстранился, и я отстранился от себя, рассыпался в прокаленный солнцем белый песок, осталось только сияние и блеск, и снова блеск.

Через несколько мгновений я, конечно, вернулся, обнаружил себя сидящим на скамье перед бассейном.

Потом они рисовали. Брали в зубы кисточки и рисовали на белой бумаге разноцветные зигзаги.

Соревновались, кто прыгнет выше.

Танцевали на хвостах танго.

Играли в водное поло. И Паша всегда выигрывал.

К концу представления мы были обрызганы водой и промокли. Кажется, это подразумевалось, ну, то есть было так задумано — чтобы дельфины всех мочили. Это для веселья, это весело, все знают. Иногда кто-нибудь начинал веселиться и хлопать в ладоши, это немного сбивало дельфинов, но весельчака быстро осаживали.

Все это длилось, наверное, час. Очень быстро, я не успел заметить, как время кончилось. Как снова появился ведущий в цилиндре и объявил:

— Представление закончено. Поблагодарите артистов за выступление, они старались. Наша Таня.

Человек Таня выступила вперед и поклонилась.

Почти все мы встали и громко поклонились в ответ, кажется, это Таню немного смутило или испугало, во всяком случае, она удалилась за кулисы.

— Поприветствуем наших друзей Сашу и Пашу, — продолжал ведущий. — Саша и Паша — дельфины-афалины.

Дельфины тут же выставились из воды и принялись размахивать плавниками, точно на самом деле хлопали. Ну и мы тоже стали хлопать, нестройно и деревянно, точно полсотни разошедшихся буратин. Дельфинов это не смутило совсем, они фыркали и, казалось, чувствовали себя уже гораздо непринужденнее.

— Приходите еще, — призывал ведущий. — Передвижной дельфинарий «Звезды Нептуна» пробудет в вашем городе еще две недели. Приходите. Будет интересно.

Мы оставались сидеть.

— Все свободны, — отпустил нас ведущий. — Можете идти. По одному.

Мы дружно поднялись на ноги и стали выходить.

Я искал Костромину, хотел с ней поговорить. Про дельфинов, про этого... Кузю, кажется. Точно Кузю, ее собаку. Но вместо Костроминной я вдруг увидел Лужицкого. Не думал, что он придет. То есть он совсем не собирался приходить, он валялся там, в моей квартире, гнул лопаты и бормотал разную чушь...

А вот зачем-то приперся.

Лужицкий стоял недалеко от борта, метрах в трех от него. Он был в прозрачном пластиковом плаще, как половина пришедших, наверное, я поэтому его не заметил, да его вообще трудно заметить, если он не подойдет к тебе вплотную и не начнет канючить, выпрашивать раму от велосипеда или убеждать, что именно я должен подменить его сегодня на отработке.

Но в этот раз я его не интересовал. Его, кажется, вообще никто не интересовал, он выглядел сломанно, так, что я на секунду подумал, что он решился выпасть в аут прямо здесь, в дельфинарии. Обилие красоты, движения и радости вызвали у Лужицкого острый приступ ненависти к себе самому...

Дальше все развивалось странно, так, как никто не ожидал. Лужицкий быстро приблизился к бортику и шагнул в воду.

Он сразу же ушел на дно, только плащ на поверхности остался.

— Стой! — крикнул ведущий с запозданием.

Ведущий подскочил к бортику, наклонился и стал смотреть в воду, пытаясь разглядеть в ней Лужицкого.

Все остановились и стали смотреть, что будет дальше.

— Таня! — позвал ведущий. — Таня! Иди сюда!

Но тренер Таня уже скрылась за кулисами и не показывалась, так что ведущий тоже растерялся, он вертел головой в разные стороны и явно не знал, что ему делать дальше.

И вдруг тихо стало. Я это не сразу понял. В зале присутствовал звук, я привык к нему, к стрекоту дельфинов, они ведь почти не замолкали, как трещетки из пластиковых открыток на наших велосипедах. И вдруг стало тихо.

— Вытащите же его, — крикнула Костромина. — Вытащите.

Она попыталась тоже спрыгнуть в воду, но ведущий схватил ее и держал крепко. Костромина, разумеется, пыталась вырваться, однако мощи освободиться из лап старого вупыря у нее, конечно же, не доставало.

А я смотрел в воду.

Лужицкий лежал на дне бассейна неопрятной темной кляксой, не шевелился, просто лежал. Дельфины находились в другой части бассейна. Сначала они никак не заинтересовались Лужицким, ну, или сделали вид, что не заинтересовались, замерли, застыли, едва покачивая плавниками. Так продолжалось недолго, дельфины дружно повернулись в сторону Лужицкого и медленно, практически незаметно поползли, выставив на поверхность спинные плавники.

— Они его сожрут, — крикнула Костромина.

Я почти услышал в ее голосе страх. Нет, мне на самом деле на секунду показалось, что Костроминой страшно. Хотя на самом деле это, конечно же, была типовая реакция.

Соулбилдинг для начинающих. Залезь на телемачту, встань рядом с краем и убоись. И если кто-нибудь рядом упадет в бассейн со свирепыми и голодными дельфинами, надо немедленно начинать кричать «вытащите» и «они его сожрут».

— Помогите ему.

Но никто из других вупов даже не шевельнулся. Что неудивительно. Вряд ли кто-нибудь мог подумать, что дельфины настолько опасны. И вообще, все думали, что Лужицкий просто свалился в воду, что его сейчас вытащат. А он...

Зато из-за кулис выскочила тренер Таня. Она уже успела снять черный гидрокостюм, оставшись в купальнике в крупный синий горошек. Все сразу повернулись к ней, забыв про подводного Лужицкого.

Тренер Таня мгновенно оценила ситуацию.

— Назад! — крикнула девушка Таня дельфинам. — Назад!

Она бешено засвистела в свистелку, но дельфины не реагировали, медленно продвигаясь в сторону Лужицкого.

— Стоять!

Девушка Таня прыгнула в воду.

Это было ошибкой, это понимал даже я. Потому что теперь дельфины стали Таню защищать. Они резко ускорились и через секунду оказались рядом с Лужицким.

— Помогите ему, — опять крикнула Костромина.

И я зачем-то прыгнул в воду.

Никакой логики в моем поступке не было — до Лужицкого было далеко, и при всем своем желании я не мог бы его спасти. Но прыгнул. Не знаю, это получилось... само собой. Я еще думал — зачем я это, а уже делал шаг с парапета.

Почти сразу я ушел на дно. Мы не плаваем, это понятно. Вода не терпит нежить, это давно известно, нежить или плавают по поверхности, как пенопласт, или идет на дно, как чугунное ядро. С нами обычно проходит второй вариант. Это из-за костей, они слишком тяжелые. Ну и никакого подкожного жира, разумеется.

Я упал на дно и тут же оказался в центре водоворота. Дельфины носились вокруг меня, как ошалелые, толкали боками, подсекали плавниками и умудрялись ударить хвостом, сбивали с ног, толкали в спину. Я все ждал, когда они пустят в ход зубы, но они не спешили этого делать. Каждую секунду я боялся, что они вот-вот за меня возьмутся, начнут с ног, затем перейдут к голове...

А вообще-то это было интересно. То есть познавательно. Возможно, полезно, с точки зрения соулбилдинга. Впервые в жизни я оказался рядом с существом, которое было сильнее и быстрее меня. Рядом с которым я был почти беспомощен.

Они меня уронили. Я попробовал встать, но в бок мне ударило твердым и плотным, и я немедленно упал на дно. И тут же сверху меня ударило уже по-хорошему, зубы мои выставились, верхние клыки врубились в кафельное дно бассейна. Плитка треснула, на меня навалилась безнадежная мягкая тяжесть, я потерял сознание.

Со мной это случилось впервые. Для того, чтобы выбить сознание из вупыря, нужны могучие усилия. Или нужно знать, куда давить. Я вот, например, не знаю.

Дельфины, видимо, знали. И силы для этого у них имелись.

Я увидел звезды. Они светили прямо через небо. И через воду. И через крышу. Холодные, похожие на медуз. Какие-то живые.

Какие-то мертвые.

Все.

Я очнулся на бортике. Передо мной стояла тренер Таня в пушистом белом халате и в резиновых галошах. Чуть поодаль сидел Лужицкий. Рядом с ним торчал ведущий и что-то равномерно Лужицкому выговаривал, Лужицкий точно так же равномерно и согласно кивал. Костромина тоже переминалась рядом, но я смотрел, конечно же, не на нее.

На Таню.

У людей оказалась очень гладкая и чистая кожа.

У людей оказались очень... глаза, одним словом, тоже чистые. Веселые. Искрящиеся. У всех наших нет таких глаз, у всех наших глаза вареной рыбы. Это в лучшем еще случае. А есть еще как пластиковые, точно отлитые из пластмассы гладкие такие шарики, раскрашенные и вставленные в глазницу, как у чучела, глаза. Как у куклы. Некоторые, конечно, линзы используют или в очках ходят, как Костромина, но это все не то, все равно знаешь, что глаза ненастоящие.

— И зачем ты прыгнул?! — спросила Таня. — Мы бы его и без тебя вытащили! Такое часто случается, ребята к этому привыкли уже!

— Он просто дурак, — ответила за меня Костромина. — Дурак, да еще припадочный. Я ему много раз говорила, что дельфины могут напасть, только он все мимо ушей.

— Нет, ребята не нападают вообще, — покачала головой Таня. — Просто когда в воде оказывается... — Таня осеклась, не зная, как правильно нас назвать. Но она нашлась быстро: — Зритель. — Таня улыбнулась. — Если в воде оказывается зритель, они начинают отрабатывать защиту. Это у них инстинкты такие. Не сильно тебя приложили?

Таня дружески потрогала меня за плечо. Я едва не шархнул. Потому что... Человек.

— Его несильно, — успокоила Костромина. — Он очень крепкий, крепкий. В прошлом месяце на него вертолет упал — и ничего, даже не помяло.

Таня с удивлением поглядела на меня. Улыбнулась.

Наверное, тогда я впервые в жизни чуть не заплакал.

— Да, — сказал я. — Это все так и было. Жаль вертолет, совсем сломался. А я ничего. Только шишка.

— Да вы шутите! — Таня рассмеялась. — А я сначала не поняла! Молодцы! Ребята, вы молодцы!

Как она смеялась. Звонко, разливисто, мы так никогда не сможем. Но Костромина не удержалась, попробовала, и, как всегда, получилось ужасно.

— Ладно, — сказала Костромина. — Мы пойдем. Нам надо домой.

— Уже? — удивилась Таня.

— Да, — сказал я. — У нас распорядок. Пора в гробы ложиться.

Таня хихикнула.

— Он дурак, — сообщила ей Костромина. — А нам действительно пора.

Таня кивнула. Она хотела чего-то сказать, но постеснялась. Человек. Человек. Настоящий.

— До свидания, — сказал я.

— До свидания, — Таня снова улыбнулась.

— До свиданья, — сказала Костромина.

Мы взяли Лужицкого под руки и пошли домой.

Тащили Лужицкого по улицам, останавливались, сажали его на скамейку, молчали. Под впечатлением. От Тани. Я вообще вокруг почти ничего не видел, только ее вспоминал. Как она подошла ко мне, как посмотрела. Как улыбалась.

— Скоро Новый год, — сказала Костромина вдруг, когда мы в очередной раз пристроились передохнуть.

— И что? — спросил я.

— Новый год — это праздник, ты опять забыл. На Новый год украшают елку. Ты видел, как вышку для прыжков украсили? Надо и нам где-то достать гирлянду.

— Надо, — согласился я.

— Говорят, в этом году генератор погоды на неделю отключат, — сказала Костромина.

— Для чего? — не понял я.

— Для профилактики. Сколько лет уже работает. Хотят реакторы поменять в январе. Так что придется всем по домам сидеть.

Я представил. Генератор отключать. Сразу делается холодно. Наступит мороз и пойдет снег, только не такой, как сейчас, а настоящий. А еще солнце. Зимой ведь тоже солнце.

— Как раз на зимних каникулах, — сказала Костромина.

Отключат, подумал я. Хоть на настоящую погоду посмотрим. Узнаем, как там.

— У тебя коньки есть? — спросила она.

— Нет, ты же знаешь.

— У меня есть несколько пар. Разные размеры. Надо только наточить.

— А потом?

— Потом кататься будем, — сказала Костромина. — Если случится мороз, то река, скорее всего, замерзнет. Сделаем каток и по вечерам, когда зайдет солнце, мы будем кататься на коньках. Это очень полезно... И красиво... Помнишь, как тогда? Давно еще?

— Помню.

— Недолго осталось, Новый год уже скоро. Зима придет.

— Скоро.

У нее было жизнерадостное настроение. Да, такое именно. Недаром она заговорила о зиме и коньках, в мире слякоти и сломанных велосипедов бывает, что хочется зимы и коньков.

— Новый год — мой любимый праздник, — сказал я зачем-то.

Костромина вздохнула, мы подняли Лужицкого и потащили его дальше.

Лужицкий то и дело падал, а мы то и дело его поднимали. Это было неудобно, и в конце концов я решил тащить его в одиночку, закинул на плечи и понес. Лужицкий был тяжел, но я этого, само собой, не замечал. Потому что я силен.

Костромина мне иногда помогала, придерживала Лужицкого за руки или за ногу.

Так до дома и дотащились. Я прислонил Лужицкого к стене.

— Сам не влезет, — сказал я. — Придется заталкивать.

— Пойду я домой, — сказала Костромина. — Что-то я...

— Нет уж, — возразил я. — Ты мне его помоги поднять, я тоже устал.

Если честно, мне не хотелось заходить к Лужицким одному. Я опасался, что в родных стенах Лужицкий очнется и начнет потрошить мне мозги какой-нибудь жестокой ерундой, а я не хотел сейчас ерунды, я хотел лечь, закрыться пледом и вспоминать. Как она улыбалась, как стояла рядом.

— Затащим его в комнату, прислоним к стене — и пусть стоит, — сказал я.

Костромина не стала спорить, я снова завалил Лужицкого на плечи и поволок его на третий этаж.

Дверь в квартиру Лужицких была открыта, это нас совсем не удивило, у нас часто двери забывают закрывать, да и смысла в этом особого нет. Меня другое насторожило. В прихожей я увидел стекло. Весь пол был усеян осколками зеркала, причем не телевизионного, а настоящего, кто-то хлопнул его о стену с такой силой, что стеклянные занозы вошли в кирпичную кладку.

Мне это сразу не понравилась, разбитое зеркало — дурной признак.

— Ау, — сказал я. — Кто-нибудь дома?

Никто не ответил.

Лужицкий сел на скамеечку под телефоном. А я осторожно двинулся в комнату. Наткнулся на грабли. Ничего удивительного, грабли используются, чтобы счищать с крыши лишайники, лишайники набирают влагу, и крыши начинают протекать, с лишайниками нужно бороться, сгребать их...

В лоб мне пришли грабли. От души, с деревянным стуком хлопнули меня меж глаз. Я поймал грабли, поднял их. Грабли были странные, завитые в странную конструкцию, точно их взяли и скрутили спиралью. Ударную силу они при этом сохранили, но крышу ими теперь вряд ли можно было почистить.

Заглянул в комнату Лужицкого. Весь пол оказался завален инструментами. Лужицкий зачем-то спустился вниз, в сарай и вытащил оттуда все, что смог достать. Лопаты, пилы, садовые ножницы, ломы. Ломы меня особенно порадовали. Или

не порадовали — они были завязаны практически в узлы. Кто-то очень грустил. Очень-очень грустил.

— Что там? — спросила из прихожей Костромина.

— Ничего, — ответил я. — Тут... Ты там лучше за Лужицким последи, я сам посмотрю.

Я двинулся в большую комнату. Я уже знал, что ничего хорошего я не увижу, я уже догадался...

На диване сидела фигура, накрытая занавеской. Отец Лужицкого. Нет, я не стал эту занавеску поднимать, я и так знал, что это он. Аут. Отец Лужицкого, видимо, оуклился. Лужицкий занервничал, накрыл отца занавеской, стал затем ломать лопаты. Потом к дельфинам сиганул. Понятно. Испугался Лужицкий. Испугался, что остался один, а в одиночку часто в аут выпадают.

— Ой...

Я обернулся. Костромина стояла тут же, рядом со мной, и смотрела. Сощурившись так, и глаз у нее еще дернулся.

— Аут, — утвердительно сказала она.

— Аут, — согласился я.

— Понятно все.

— Что понятно?

— Зачем он на дельфинов пошел. — Костромина не отрывала взгляда от занавески. Понятно. Думал, что человек ему поможет. Думал, что рядом с человеком шансы выпасть в аут не так велики.

По-моему, он совсем за другим в дельфинарий поперся, но я спорить не стал.

— Надо...

Костромина оглядела комнату еще раз. А потом вдруг встала лицом в угол и принялась бормотать.

Я рванул к телефону, набрал единицу. СЭС.

Ответили сразу.

— Некроз, — сказал я. — Второго уровня. Выезжайте скорей.

## Глава 11 Сумерки

Совсем уж ночью опять пришла Костромина.

То есть не ночью, а уже ближе к утру, наверное.

СЭС приехала минут за десять, может, раньше даже.

Лужицкому вкатили пятьсот миллилитров Н-модулятора и подключили к гальванизатору, когда его выносили к машине, он смеялся. Комнату обработали карболовой кислотой, нас с Костроминой проверили, закапали в глаза профилактический агент и выставили на лестничную площадку. Квартиру опечатали.

Я проводил Костромину до дома и вернулся к себе, лег на диван у окна. А потом Костромина пришла снова. Явилась, села в кресле и стала на меня смотреть. А я на нее.

Сначала не замечал, а потом увидел, что она как-то изменилась. С лицом что-то сделалось. Как будто оно меньше стало и...

Я прищурился. Костромина заметила, что я ее разглядываю.

— Не надо глупых вопросов, — сказала она. — Зубы я удалила.

Костромина улыбнулась.

— Зачем?

— В «Сумеречных скрижалях» что написано? Вся сила — в клыках, ты же сам говорил. Вот я их и выдрала. Чтобы утратить силу. Знаешь, я, кажется, и раньше про такое слышала — что вуп без клыков перестает быть вупом. Ясно?

Костромина еще раз показала мне зубы. Вернее, уже почерневшие дыры. Две вверху, две внизу. Страшно. Уродливо. Еще хуже, чем было.

— А нижние-то зачем выдрала? — не понял я.

— Там же не говорится — какие именно выдирать надо.

Вот, на всякий случай.

— И как?

Костромина прислушалась к ощущениям.

— Чего-то не хватает, необычно так, точно босиком...

Зато другое проявилось.

Кострома схватила меня за руку, поволокла в прихожую, к зеркалу.

— Я начала отражаться, — сообщила она с к.б. энтузиазмом.

Костромина отключила плазму, подскочила к зеркалу.

— Гляди.

В зеркале действительно что-то промелькнуло. Вроде как тень какая-то.

— Видал? — Кострома ткнула пальцем в стекло. —

Видал?

Я пожал плечами.

— Эх ты, вупирь — костяная башка... — Костромина еще немного покривлялась перед стеклом, но больше в нем ничего не отразилось.

Я включил плазму. И через три секунды мы уже пялились на себя. Я и Костромина. Рядом. Я ее на полголовы выше. И глаза краснее. И без парика. А вообще-то ничего смотримся. Как пара.

— А почему ты без цветов был? — поинтересовалась Костромина.

— Где?

— В дельфинарии. Ты же должен был нарвать цветов, почему их не взял на представление?

— Я не нарвал цветов, — признался я.

— Почему?

— Это... понимаешь, во-первых, этот твой цветник выстрелил в меня дробью.

Костромина промолчала. Похоже, это обстоятельство ее не очень удивило.

— Во-вторых...

— Значит, стрелял, говоришь? — вдруг переспросила она.

— Стрелял. И, между прочим, попал.

— Куда? — спросила Кострома с необычной живостью.

Я постеснялся ответить. Конечно, на самом деле я не знаю, что такое стеснение. Но я, как и все вупы, представляю, когда его надо делать.

— Так куда же он все-таки попал? — продолжала настаивать Костромина. — Только, Поленов, прошу тебя выражаться приличнее. Как надлежит.

Я с трудом сформулировал — все-таки я непривычен к интенсивной интеллектуальной деятельности.

— Понимаешь, Костромина, этот негодяй попал мне в то место, на котором мы обычно сидим.

— В голову, что ли?

Юмор. Я понял, юмор. Каждый человек должен уметь хорошо шутить, судя по всему, Костромина на своем соулбилдинге вовсе овладевала чувством юмора. Юмор нам сейчас не помешает, после Лужицких надо почаще смеяться.

Я засмеялся.

Как полагается, отвратительно. Вот если взять гвозди, изогнуть, спаять в ежа и кинуть в водосточную трубу. Или если гайки в кастрюле взбивать. Так вот. Гзха-гзха-гзха.

Но Костроминой все равно понравилось.

— Я поняла, куда тебе угодила эта шрапнель, подробно можешь не объяснять, — сказала она. — Это, если говорить честно, здорово. Можно сказать, даже отлично... Нет, отлично, что он в тебя попал, однако плохо, что попал в столь... карикатурное место. Одно дело такая история: влюбленный юноша лезет за цветами, чтобы подарить их своей девушке. Но попадает под огонь озверевшего садовода — пуля застревает у него в голове...

— Ну, застревает, — без особого энтузиазма сказал я. — И что? Кого этим удивишь нынче?

— Ты, Поленов, темная личность. В школу ходишь зазря совершенно, впустую.

— Я в технологический хотел, на конструктора, да не взяли, сама знаешь, туда без школы не берут...

— Хватит жалиться, Поленов, я тебе не шиншилла, меня разжалобить трудно. Ты совершенно не учиываешь человеческую психологию. Надо глубже понимать проблему, смотреть в суть. А суть такова. Света выросла на Новой Земле. Она, конечно, вампиров изучала, но мы для нее все равно как люди. И если она услышит, что кто-то получил пулю за цветы, она, конечно, растрогается. Понял?

— Понял. Только...

— Кстати, а это идея. — Костромина почесала подбородок блестящим серебряным ногтем.

— Что за идея? — не понял я.

— Идея проста. Я возьму пистолет, стрельну тебе в башку, а мы скажем, что цветовод. А ты как бы пострадал за любовь... А?

Я почесал голову. Конечно, интересная мысль. Стрельнуть неплохо, главное, в глаз не попасть, глаза плохо отрастают, а ходить полгода с повязкой совсем не хочется.

— Ну, давай, — сказал я. — Стреляй. Только не в глаз. В лоб давай.

Костромина уставилась на меня с удивлением.

— А ты, Полено, молодец. Готов ради любви многим пожертвовать.

— Да, — сказал я. — Готов.

— Молодец. Рада за тебя. Я подумаю. В голову благороднее, чем в... В наоборот. Цветовод-то, кстати, свинцом стрелял? Или солью?

— Серебром.

Костромина поморщилась.

— Это жертва, — сказала она. — Безусловная. Сидеть-то как?

— Неприятно. Чешется. Я почти все извлек, совсем немного осталось.

— Придется терпеть.

Я вздохнул.

— Нет, конечно, я могу тебе выдавить... Или выцарапать.

На секунду я представил эту картину. Вот я лежу, Костромина склоняется надо мной, а в руке пинцет... вернее, клещи. Не очень весело.

— Само выйдет, — сказал я. — Через пару месяцев. Потерплю. Да почти не чувствуется.

— Молодец в четвертый раз. И все равно непонятно... Где букет? Понятно, что тебя расстреляли, это хорошо. Но букет-то ты собрал?

Кострома осторожно понюхала воздух.

— Там, — я кивнул в сторону реки.

— Так... Почему там, а не здесь?

— Да у него все цветы ненастоящие. Одни пластмассовые, другие бумажные, а третьи вообще железные.

— Железные цветы? — удивилась Костромина. — Он что, псих?

— А я откуда знаю? Нет, наверное, не псих. Все равно цветы настоящие у нас плохо... так хоть пластиковые будут. Красиво.

— Что ты в красоте понимаешь, Поленов? Тебе бы только... Я даже не знаю, что тебе стоит делать, ты никакой...

Костромина замолчала. Некоторое время она ошупывала свое лицо, со страхом и с отвращением, потом сказала:

— С цветами не получилось. Надо попробовать что-то новенькое. И чем скорей, тем лучше, Беловоблов с Груббер на месте не стоят.

Я представил, как Груббер и Беловоблов не стоят на месте, и мне стало почему-то весело.

## **Глава 12** **Бладбургер**

С утра я отправился в книжную лавку на Станционной. Раньше там был рынок, стены железные, потолок стеклянный, сейчас рынок изменился, как, впрочем, и все вокруг. Крыша просела, стены выпуклились и заросли мхом, рынок стал похож на расплюснутую консервную банку, в нем больше ничем не торговали. Меняли книги.

Конечно, в книжную лавку идти без обмена не стоило, и я приготовил на обмен книжки из своего коллекторного запаса. «Антология уральского кошмара-4», «Карлики Вицлипуцли» и роскошно изданный «Современный бестиарий» со стереоскопическими картинками. Все очень поганое. Неплохой набор, легко поменяюсь.

Сегодня в лавке дежурил Брюханов, он сидел на складном стульчике и починял шредер. Шредеров в лавке держалось много, лавка перерабатывала вредные книжки в бумажные ленты, а потом в муку, после чего мука вывозилась на целлюлозную фабрику. Аппараты были все древние, допотопные, ломались часто, а Брюханов с напарником их почти постоянно чинили.

Брюханов мял пальцами отвертку и грыз титановый мундштук. Меня увидел не оборачиваясь.

— Привет, Поленкин, — сказал.

— Здравствуйте. Я Поленов. Мне надо...

— Что притащил? — буркнул Брюханов, не отрываясь от шредера.

— Книжки.

— Ясно, что не коврижки. Что там у тебя?

Я сунул Брюханову сумку. Он оценил на вес, понюхал, сказал:

— Неплохо. «Уральский кошмар», «Вицлипуцли»... О, «Бестиариум». Да ты библиофил.

— Кто? — не понял я.

— В коллекторе книжки тыришь, вот кто.

Я отвернулся. Можно подумать, он сам не тырил в детстве. Так тырил, что теперь вот в книжной лавке работает.

— Да ладно, не обижайся, Поленкин. Что брать будешь? Опять про велосипеды? Я тебе приготовил парочку...

— Да не. Про любовь.

Брюханов к.б. удивленно подвигал бровями.

— Это маме, — тут же сказал я. — Она интересуется.

— Да хоть папе, — Брюханов указал на коробки, стоявшие вдоль стены. — Первые пять — про любовь, следующие про приключения, потом фантастика, все есть.

Я подошел к любовным коробкам, стал осторожно перебирать. Книжки были очень бывшие в употреблении, все в мягком переплете, некоторые почти разваливались или действительно разваливались, в других крошилась краска, в третьих мне не нравились обложки, четвертые покрывала плесень, я перебирал и не знал, что взять.

— В этой коробке старье всякое, — пришел на помощь Брюханов. — На вот, интересные.

Брюханов сунул мне в руки две книжки.

— Рекомендую, — ухмыльнулся он. — Мама будет довольна. «Огонь в твоём сердце». Отличный лавбургер. И вот еще тоже хорошая, «Неотразимая Жюли», это историческая. Там всякие герцоги, маркизы, на коняшках скачут... Короче,

посмотришь. Заходи еще, всегда рад тебя видеть. По деревообработке ничего не нужно?

И неестественно загоготал, довольный своей шуткой.

Тоже, что ли, на соулбилдинг ходит?

Я пообещал, что зайду, поспешил домой. Улегся в койку, лампу зажег.

«Огонь в твоём сердце» мне сразу не понравился, там одна английская девушка попадает в Индию, в плен к одному радже, у которого сорок жен, а ее планируют в сорок первую. Я не очень люблю все восточное, поэтому добраться я смог лишь до места, где раджа спас эту англичанку от взбесившегося слона, дальше читать не стал, там и так все понятно было.

«Неотразимая Жюли» меня тоже поначалу разочаровала. Там одна французская девушка Жюли отправлялась в Россию в девятнадцатом веке учить детей князя Крымского играть на фортепиано и влюблялась в самого князя, жена которого недавно умерла от родильной горячки. Все дело шло к тому, что вот-вот Жюли пойдет на опушку леса за подснежниками, а князь Крымский спасет ее от стаи голодных волков, но вдруг книжка про Жюли кончилась и пошел совсем другой роман. Про одного ангела Уриела, которого изгнали с небес на землю за бесчинство, а он взял и влюбился в какую-то Наташу из пятиэтажки на окраине.

Это был настоящий блadfикшн. Потому что этот ангел то и дело вступал в жестокие схватки с разнообразными демонами, которые регулярно подкатывали к этой самой Наташе с гастрономическими намерениями. Демоны были всегда повергаемы.

Сначала я не понял, а потом, конечно, догадался. Полиграфический брак. Перепутали в типографии, получился винегрет. Интересно, это случайно или Брюханов мне специально подсунул? Может, он из ККГ?

«ККГ» — это «Кровавая кровь грядет». Есть будто бы такая вурдалаческая организация, которая выступает за чистоту вампирской жизни. Нет, они не призывают охотиться на немногочисленных людей и питаться их кровью, до такого в наши дни никто не докатывается, даже самый последний-распоследний последователь Погробиньского. Они нападают на

животных. Хотя я никогда не видел ни одного кэкэгэшника, но про их безобразия в школе многие рассказывают шепотом. Якобы то тут, то там встречаются мертвые обескровленные коровы, а в Оренбурге даже вроде как загрызли жирафа.

Года два назад братья Сиракузовы вырезали из консервной банки трафарет «ККГ», раздобыли банку красной краски, украсили соответствующей надписью множество городских стен, после чего Сиракузовых призвали к директору, а их родителей обязали все эти стены закрашивать. И закрашивали. Держа кисточки в зубах.

Нет, вряд ли Брюханов из ККГ, сказки... Но книжку решил на всякий случай прочитать. А вдруг в бладфикшне есть то, чего в остальных книжках нет? Вдруг тут какие-нибудь советы имеются? Ну, как не совсем человеку произвести впечатление на человека?

У этого Ури впечатление произвести удавалось. У него для этого имелся целый набор инструментов влияния, во-первых, очень пронзительные и красивые голубые глаза, во-вторых, крылья, в нужный момент собиравшиеся из ослепительного света, в-третьих, он умел шпарить на латыни лирику римских поэтов, в-четвертых, как ангел, он совершенно не чувствовал себя стесненным в средствах, в частности, в финансовых.

Конечно, с такими возможностями у этого Ури все очень легко получалось, а эта Наташка из пятиэтажки просто на шею ему вешалась, как ненормальная. И все было бы хорошо, но тут объявился неслабый бес из ада, которого отправили разобраться с этим Ури. И первым делом он решил покуситься на Наташку и подвалил к ней в виде шведа, чемпиона мира по горнолыжному спорту. Ну, и грянула главная битва, в которой Уриел, конечно, победил, так примерно.

С восемнадцатой главы пошло самое интересное. Этот падший, но перевоспитавшийся ангел намолотил столько всякой нечисти, что его, как перевыполнившего план, решили вернуть обратно в Свет, но ему не очень хотелось туда одному. А Наташку на небеса не пускали, поскольку в живом виде туда только праведников возносят, да и то далеко не всех. Мне стало интересно, что будет делать Наташка, я с

нетерпением перевернул страницу, но тут про Наташку кончилось и продолжилось про Жюли. Жюли и князь в медвежьих шубах ехали на тройке с бубенцами к цыганам и распевали веселые русские песни про мороз-мороз.

Вот так и почитал.

Книжки мне, в общем-то, понравились, только, к сожалению, ничего полезного в них не нашлось. В практическом смысле, для привлечения к себе Светиноного внимания. Если грузовик найти было еще как-то можно, то со взбесившимися слонами и голодными волками непременно возникли бы проблемы.

В дверь постучали и сразу вошли. Костромина, кто еще?

— О, я вижу, ты времени зря не теряешь, — она кивнула на книжки. — Что там? Про Жюли? А я читала эту книжку, хорошая. А это... «Огонь в твоём сердце»? Про что?

— Да так, про магараджей каких-то.

— Про магараджей? Про магараджей не пойдет... Слушай, я вот что подумала. Вернее, еще тогда подумала, на Соленом холме, когда вы друг против друга стояли. Вам с Беловобловым надо устроить дуэль.

— Как это?

— Да так. В честь прекрасной дамы. Так всегда раньше делали. Это нормальная практика.

Я вспомнил про лорда и про индейца, которые дрались из-за красавицы на пляже, и подумал, что это действительно неплохая идея. Во всяком случае, классическая, так, кажется, это называется — когда все в старинном духе, на саблях, с кружевными воротниками и с хрустальными бокалами. Если Света узнает, что мы бились из-за нее на дуэли, она...

— Она это оценит, — закончила мою мысль Костромина.

— Я бы оценила, наверное... Ну, если бы была человеком, само собой. Пойдем к Беловоблову. То есть... то есть, беги к Беловоблову, а я пока подумаю кое о чем. Приходите ко мне домой.

— К тебе? — удивился я.

— Ну да. Ты его только не забудь вызвать, Беловоблова.

— Куда вызвать?

— Не куда, а на что... хотя не вызывай, все равно ничего не поймет. Просто приходите.

— Ладно. Как зубы, кстати?

— А... — с разочарованием сказала Костромина. — Отросли к утру. Но я все равно их вырвала. Снова.

— Глупо, — сказал я. — Ты их вырываешь, они снова отрастают.

— И пускай отрастают, — отмахнулась Костромина. — А я их все равно буду вырывать. Пока не перестанут.

Я пожал плечами.

— Вот я читала, что если собакам из поколения в поколение отрубать хвост, то рано или поздно они начинают рождаться совсем без хвоста, — сказала Кострома. — Я тоже...

— Будешь без хвоста рождаться?

— Дурак, при чем тут хвост? Я о зубах. Постепенно зубы привыкнут и перестанут отрастать.

— А если не перестанут?

— Если не перестанут... — Костромина сжала кулаки. — Что пристал со своими зубами, а?

— Я не приставал... Я...

— Ты сейчас пойдешь к Беловоблову, скажешь ему, что он дурак. Он спросит почему, а ты ему скажешь, что сам не знаешь, но если он придет ко мне, то я ему все подробно объясню. Где живет Беловоблов, помнишь?

Где дом Беловоблова, я помнил, в Ангарном тупике, недалеко, в общем. Побежал туда через дождь, слякоть и прочую бесконечную печаль.

Беловобловы обитали в старом железном ангаре, которых в Ангарном ржавело множество. Между ангарами валялся мелкий железный лом, сор, другая посторонняя рухлядь, из-за которой ангары напоминали норы, откопанные в утильной горе. Я отыскал нору № 3, постучал в дверь, внутри что-то неопределенно рыкнуло, я вошел внутрь.

И сразу заметил Беловоблова. И понял, что он делает. Мой соперник сооружал барабан помасштабнее, видимо, старого ему не хватало. Инструмент он фабриковал весьма оригинальным способом: посреди помещения располагался круглый спил какого-то весьма крупного дерева, и Беловоблов с

помощью лома проковыривал в нем дыру. Наверное, таким способом изготавливали барабаны пять тысяч лет назад, какие-нибудь дикари на тропических островах наверняка делали так же. Ковырянием.

— Ты еще углями повыжигай, — посоветовал я.

Беловоблов выдвинулся из своего пня, спросил неприветливо:

— Чего тебе?

— Ничего. Тут одно дело есть... Пойдем к Костроме.

— Сам ходи к своей Костроме, что я там забыл? Мне и здесь хорошо.

Беловоблов принялся снова стучать ломом в дерево. Я слышал, раньше было такое вот шутовское наказание — наказуемого заставляли вычерпывать ломом ведро воды. Для человека это достаточно сложно, для нас — нет. Ведро воды вычерпать, выковырять из бревна барабан, это нам по плечу. Особенно Беловоблову, у него сросшиеся позвонки. Наверное, он мог бы и шилом барабан выковырять или ногтями.

— Костромина хотела поговорить, — сказал я. — На очень серьезную тему.

Беловоблов принялся ковырять дерево энергичнее. Тук, тук. Я подумал, что Беловоблову в школу, наверное, не стоит ходить, его на урановую шахту надо. С ломом. Чтобы ковырять полезные ископаемые. Он один вместо двух комбайнов работать сможет.

— Беловоблов, а зачем тебе барабан? — спросил я.

— А зачем тебе контрабас? — огрызнулся Беловоблов.

Тогда я признался.

— Я хочу подружиться со Светой, — сказал я. — С человеком, который к нам приедет.

Беловоблов посмотрел на меня пристально, Беловоблов нахмурился, промолчал, лом закинул на плечо.

— Я хочу подружиться со Светой, и ты хочешь подружиться со Светой, — сказал я. — А Света не может дружить сразу с двумя, ты это понимаешь?

Беловоблов размышлял почти целую минуту или даже две, затем выдал:

— Понимаю.

— Должен остаться только один, — повторил я. — Или я, или ты. Вдвоем, сам понимаешь, не очень сподручно.

— С ней еще Сиракузовы дружить хотят, — напомнил Беловоблов.

— Они идиоты, она с ними дружить не станет, — заверил я. — Так что остаемся мы с тобой.

Мой соперник Беловоблов пожал плечами.

— Я слышал, еще один из восьмого класса хочет с ней дружить, — сказал он.

— С чего это? — к.б. возмутился я. — С чего это какой-то там урод собирается дружить с нашей Светой?

— А с чего это она наша Света? — спросил Беловоблов и перекинул лом из руки в руку.

— А чья же еще? Конечно, наша! Ее ведь в наш класс определили! И пусть другие не подмазываются, верно ведь?

— Пожалуй, — согласился Беловоблов. — Есть смысл.

— И с Сиракузовыми надо что-то делать. Нет, конечно, они не могут противостоять мне... то есть нам. Но могут помешать.

— Да, могут. Сиракузовы могут.

— Они тоже грузовиком ее давить собираются? — спросил я.

— Нет, кажется, балконом... Не знаю, они что-то придумывают тоже.

— Вот о чем я и говорю. Балконом. Они дураки, они могут и балконом. Представляешь, что будет, если они на нее балкон уронят?

— Да уж...

— Надо идти к Костроминой, у нее есть план.

Беловоблов отставил лом.

— У нее есть план, — повторил я. — От этого плана все образуется.

— Точно?

— Ага. Уверен.

— Ладно.

— Значит, пойдём?

— Пойдем.

И мы отправились к Костроминой.

Беловоблов сказал, что он знает короткий путь, мы погрузились в переулки, некоторые были так узки, что походили не на улицы, а на ручьи, а кое-где на стенах сидели мокрицы размером с небольшую кошку.

Сначала мы шагали молча, то есть не совсем молча — Беловоблов вызывающе напевал старинную песенку о пользе употребления в пищу свежих овощей, а потом вообще разговорился и поведал рассказ из семейной жизни. Про то, как однажды его прадедушка и дедушка отправились на рыбалку. Я его не просил ничего мне рассказывать, но он все равно рассказывал и рассказывал, всегда знал, что он ненормальный.

Это была морская рыбалка, они вышли в море на лодке и стали ловить каких-то рыб. Клевало хорошо, и старинные Беловобловы забили рыбой уже почти половину лодки, но вдруг клев прекратился. И волнение на море, оно тоже прошло, замолчали чайки, и даже солнце вроде как остановилось и висело в небе, как прибитое. Тишина продолжалась довольно долго, а потом у Беловоблова-дедушки клюнуло. Не сильно, даже наоборот, так, еле-еле. Беловоблов подсек, но рыба неожиданно потянула, причем не только леску, но и всю лодку. Их таскало по морю весь день и всю ночь, после чего рыба ослабла и дала вытащить себя на поверхность.

Это была маленькая синяя рыбка, размером с мизинец, может, чуть больше. Беловобловы удивились, затем посадили рыбку в стакан и отвезли домой, а там уж пересадили в банку.

Рыбка жила в банке достаточно долго, все это время у всех в доме было самое хорошее настроение. Не к.б., а на самом деле хорошее, Беловоблов-дедушка даже смеялся почти каждый день, а его сестра...

Беловоблов-правнук поскользнулся на мокрице, схватился за стену дома, выдернул из кладки кирпич, раздавил его пальцами.

Одним словом, рыбка явно приносила удачу. К тому же это была не просто удача, а нечто большее. Потому что пока рыбка сидела в аквариуме, они отражались. Сначала в воде и немного, потом в оконных стеклах в темное время суток, а затем и в зеркалах. Правда, всего на мгновение, на секунду, на полторы, но зато отражались. Кроме того, рыбка смотрела из

банки умным взглядом и могла менять погоду, в сумрачные дни разжигала неяркое солнце, в жаркие дни напускала на небо мелкие приятные тучки.

Все было так славно, но закончилось быстро. В один прекрасный день рыбка... Дальше шла грустная часть истории, которую я не очень внимательно слушал. Когда Беловоблов закончил, я спросил, с чего это он вдруг пустился в эти длительные рассказы, на что Беловоблов ответил, что это традиция его семьи. Что когда-то у них в роду имелся известный писатель, придумавший много разных историй, и есть традиция — рассказывать его истории наизусть, каждый в семье должен знать парочку.

Беловоблов стал рассказывать вторую историю, но тут мы добрались до дома Костроминой.

У Костроминой он повторил все то же самое, прямо с порога, можно подумать, мы пришли сюда слушать его байки.

А Костроме понравилось.

— Это же грандиозно, — к.б. восхитилась она. — Это самый романтический рассказ, который я слышала в жизни. Традиции. Предки-писатели, что может быть лучше? Ты потом еще расскажешь?

Она поглядела на Беловоблова с интересом, и мне это совсем не понравилось. У меня вот не было в запасе таких историй, вот уж не ожидал, что Беловоблов окажется таким чемпионом. Лирик-барабанщик. У меня даже неприятная идея проскочила: а вдруг Кострома решила поставить на него? На этого барабанщика? А что, такой шанс есть. Барабанит он громко, огоньки в небо запускает. А тут еще предок-писатель... Вот уж не думал, что меня этот беспозвоночный может обогнать.

— Я тебя опять вызываю, — сказал я.

— Что? — не понял Беловоблов.

— На дуэль, — повторил я. — Послушай, ты, сказитель, я тебя на дуэль вызываю.

Сказал я как можно грознее и героичнее.

— Да ты меня вызывал уже. — Этот Беловоблов поглядел сквозь меня, на Кострому поглядел

— Еще раз вызываю.

— Да отстань ты... — оттолкнул меня Беловоблов. — Так вот, я хочу рассказать одну самую интересную историю, самую...

Кажется, надо в лицо перчатку кидать, но перчаток я сроду не носил, я просто стукнул его по уху. Со всей силы. Ухо сплющилось по черепу, голова же у него даже не покачнулась, крепкая.

— Ну, ладно, — Беловоблов облизал зубы. — Ты меня просто вынуждаешь...

— Стоп. — Костромина встряла между нами. — Все надо делать правильно. А то какой смысл? А вообще... Вообще я очень рада. Ребята. — Костромина подпрыгнула и ободряюще похлопала нас по плечам. — Ребята, у нас все серьезно ведь происходит, по-настоящему. Вы разозлились, как я погляжу.

— Я не разозлился, — буркнул Беловоблов. — Просто он меня ударил исподтишка, это нечестно...

— Все просто замечательно, — воскликнула Кострома. — Я так рада, что ты согласился. Молодец. Герой.

Кострома полыхнула на беспозвоночного повышенным энтузиазмом. Беловоблов поглядел на нее с некоторым подозрением. И даже с к.б. опасением. Видимо, давно не переживал таких эмоциональных бурь.

— Не пугайся, — успокоил его я. — Все в порядке. Она всегда такая в последнее время. Душу качает.

— Что? — не понял Беловоблов.

— Душу упражняет. Что такое душа, знаешь?

Беловоблов закрыл глаза и вспомнил:

— Душа есть нематериальная субстанция, представляющая собой комплекс психофизических реакций на раздражители окружающей социальной среды...

Я громко щелкнул пальцами. Беловоблов замолчал.

— Философский словарь, — прокомментировала Костромина сие выступление. — Верно ведь?

— Современный словарь атеизма, — поправил Беловоблов. — Прадедушкин еще.

— Это у тебя фамилия такая должна быть — Прадедушкин, — сказал я Беловоблову. — Тебе очень пойдет.

Прадедушкин-Дюрсо. Как тебя там по имени? Круизер Матвеевич?

Беловоблов опять не засмеялся.

— Молодец, — сказала Костромина уже в мою сторону. — Набираешься опыта. Общаешься со мной — и тоже укрепляешь душу. Со стороны юмора. Так постепенно и обрящешь.

— Вот видишь, — сказал я «Прадедушкину». — Душу тоже можно натренировать. Главное стараться.

— Как это? — продолжал не понимать Беловоблов, ухо поглаживал.

Кинулся бы, что ли, на меня, я его по уху, а он почесывается. Тот еще слизень. Надо было ему ухо зажигалкой.

— Так, — сказал я. — Душу можно развить. Берешь душу — и упражняешь, упражняешь... Катаболический эффект.

— Мы здесь не по поводу души Беловоблова, — сказала Костромина к.б. строго. — Мы здесь совершенно по другому поводу.

— Да, — глупо сказал Беловоблов. — Да, Поленов меня вызвал на бой...

— Вызов, Беловоблов, это серьезно, — заметила Костромина. — Это тебе не просто так. От него просто так не отвертишься.

Беловоблов пожал плечами, Костромина продолжала:

— Ты пойми, дурачок, когда Света узнает, что ты дрался за нее не на жизнь, а на смерть — она сразу тебе спасибо скажет. Большое человеческое спасибо, слышал про такое?

Беловоблов с сомнением хрюкнул.

Костромина сняла с полки маленькую книжицу, отпечатанную на серой бумаге. «Дуэльный кодекс», успел прочитать я. Но она сунула книжку Беловоблову, не мне.

— Я изучила, как это делали раньше, и пришла к выводу, что нам это не очень подходит. Раньше было принято стреляться...

На пистолетах, знаем, кино видели. Аристократы надевают белые рубашки, идут к мельнице, жуя мерзлую рябину, вышибают друг другу черепушки и падают в снег, истекая кровью. У нас такое, конечно, не пройдет. Мельницы

нигде не найти, все сломали, зачем нам мука? Разве что в Голландии где, но до Голландии никак не добраться. Рябины нет, есть чертополох засохший. Пистолеты. Конечно, можно пойти в Музей цивилизации, там оружия всякого валяется просто в изобилии, да только проку от этого оружия нам совсем никакого нет. Из пистолета мы друг друга даже не покалечим, даже если в голову стрелять. А какой интерес в дуэли без членовредительства? Правильно, никакого.

На саблях еще раньше дрались, возьмут сабли и фехтуют, пока один другому кишки не выпустит, или голову пока не отрубит. И здесь, на первый взгляд, возникает интерес — поскольку голова сама по себе не регенерирует, если голову снесешь — все, конец, обратно не прикрепешь. Но тут у этого моего соперника налицо преимущества — у него позвонки сросшиеся, да так крепко, что даже мне их не разрубить. То есть он мне башку снести может, а я ему нет. Какая же это тогда дуэль?

На ядах еще раньше дуэлировали — это, понятно, нам не поможет, разве что кислоту глотать, но это тоже не выход, заживет все рано или поздно.

— ...Можно натянуть между небоскребами канат и идти навстречу друг другу и бороться. Но потом я поняла, что это технически сложно осуществимо.

— Почему? — глупо спросил Беловоблов.

— Небоскребов нет поблизости, Прадедушкин, — объяснил я.

Беловоблов даже к.б. не обиделся, совсем запущенный тип. А еще в человека влюбиться хочет. Ему бы в кассовый аппарат влюбиться. Или в батарею. Это бы да.

— Совершенно верно, — согласилась Кострома. — Подходящих зданий, к сожалению, нет. Девять этажей для нас маловато, не успеем набрать ускорение...

Как, все-таки, экзотически мыслит Кострома. Толкаться на канате, натянутом между небоскребами. Полет мысли. Ускорение. Вдохновение к.б. Наверное, когда она человеком станет, сильно преуспеет.

— Тут ты, Поленов, прав. — Костромина поглядела на меня с укоризной, будто это я разрушил все небоскребы вокруг. — Небоскреба сейчас не сыщешь.

— Я вот тут предлагаю... — Я хотел предложить бензопилы, но Костромина остановила меня жестом.

И к.б. в задумчивость погрузилась.

Она расхаживала по комнате, а мы сидели на бревне. Последний раз я был в гостях у Костромы больше года назад, с тех пор многое изменилось.

Раньше комната выглядела... обычно так. Как у всех нас. Обои какие-то с листочками, древние, наверное, еще сто лет назад клеенные, железная мебель. Три стула, отлитые в давнишнюю пору на чугунном заводе, каждый килограммов по сто пятьдесят, монументальные вещи. Да кровать еще. Кровать у Костроминой была на зависть всем кровать — наследственная, от бабушки перешла, титановая. Легкая, но прочная, три поколения Костроминых по женской линии ночевали на этой кровати — и ничего, как новенькая. У меня вот кровать тоже не самая плохая, стальная — так уже вся прогнулась, хотя я не ерзаю, лежу себе спокойно, как сосулька...

Да, кровать титановая. Полки книжные нормальные, на них в основном еженедельники — про растения, про разведение черепашек, бисероплетение разное, ничего интересного.

Сейчас из всего этого убранства осталась только семейная кровать. Вместо древних обойных цветочков красовался гигантский коллаж. Один такой, большой, по всем стенам от пола до потолка. Коллаж состоял из картинок, вырезанных из газет, журналов и книг, по большей части они просто клеились, бестолково. Но в некоторых местах, например, на западной стене, я проследил некоторый смысл — там изображались всевозможные куколки с головами от некоторых знакомых мне вуперов, а над куколками уже бабочки — и тоже с головами тех же вупов, ну, или уже людей к.б. Это символизировало как бы перерождение — типа, сиди в гусенице, старайся, жуй целлюлозу — и станешь человеком со временем.

Видимо, искусство коллажа развивало творческий сегмент души.

Соулбилдинг.

На полу лежал ковер с непонятными восточными узорами, дальний угол был подозрительно измочален — то ли корова пожевала, то ли собака Кузя, а по центру шли проплешины. Что символизировал этот потрепанный ковер, я сказать не могу, но помещению он придавал уют и замызганность одновременно.

На книжных полках лавбургеры, от еще старинных, до последних, где в космонавтов влюблялись. Книги — это хорошо, они учат жизни и состраданию.

Кроме того, в комнате плескался беспорядок. Некоторые легенды гласят, что вампиры не терпят беспорядок, не могут пройти мимо рассыпанного коробка спичек, впадают в бешенство при виде грязных ботинок и выпрыгивают в окно, если виртуоз-балалаечник по телевизору пускает фальшивую ноту. Вранье. В вампире так мало электричества, что он не обращает внимания на такие мелочи, как рассыпанные спички. Но насчет жилища — это да, есть комплекс. Минимализм, геометризм, линолеум должен быть всегда вдоль, никаких косых линий. И это у всех, и не объясняется никак. Раньше и у Костромы было все в шахматном строе, теперь с этим происходила борьба. Много мелких вещей и много перпендикулярных прямых, все вкривь, вкось и кое-как.

Ну и Кузя.

Кузя притворялся мертвым в корзине, забранной со всех сторон войлоком, так что получилось как бы такое осиное гнездо. Не показывался. Лежал, не дыша.

Гнездо Кузи, кстати, весьма вписывалось в общую схему хаоса, организованного Костроминой. Сам Кузя, наверное, тоже создавал беспорядок. Беспорядок развивал в Костроминой человеческую непредсказуемость и загадочность, заглавные человеческие качества.

Не знаю, как Костромина, а я себя в этой комнате чувствовал как-то не по себе. Казалось, что вот-вот я куда-то свалюсь.

Беловоблов тоже чувствовал себя неудобно, листал туда-сюда дуэльную брошюру, шевелил губами. Кто как стоять должен, кто первый стреляет, как потом правильно труп уносить — чтобы обязательно рука по снегу волочилась. Или по

земле, оказывается, в дуэлях множество тонкостей, без которых дуэль толком и не дуэль вовсе, а так, спортивная стрельба по мишеням. А дуэль — это культура.

— Надо все-таки стреляться, — пробурчал Беловоблов. — Все стреляются.

Всегда знал, что сильным мозгом он не отличается, впрочем, у них вся семья такая, все работают трубогибами да канализаторами, и Беловоблов тоже будет канализатором.

— Пистолеты не подойдут, — отклонила предложение Костромина. — Причины вполне понятны. И давайте без откровенной экзотики, дело серьезное. Есть какие-нибудь еще идеи?

— На бензопилах, — предложил я.

Костромина к.б. расхохоталась, но я предложил снова:

— На бензопилах. А что? Это классически.

— С чего это бензопила — классический дуэльный предмет? — не поняла Кострома. — Обоснуй.

Я обосновал.

— Завсегда так происходило, — сказал я. — Я это в книжке какой-то читал, из старых. Раньше, в человеческие времена, это был весьма распространенный способ выяснения отношений. Бензопилы компактны, удобны, разрушительны, ими всегда дрались. Сначала топорами всякими, затем саблями, потом шпагами, ну и бензопилами, наконец. Даже фильмы снимали про бензопильные битвы. С разных сторон сходились человек по двести — и давай бензопилами махать.

Беловоблов пожал плечами.

— Я могу парочку найти, — сказал он. — У нас много разных железок, наверное, бензопилы тоже есть.

— Вот и отлично. — Костромина улыбнулась. — Так и решим. Послушай, Беловоблов, а у тебя еще есть такие печальные рассказы? Или только пилы?

— Да, есть и рассказы. Мы раньше в Новороссийске жили, там все время что-то происходило. Я их много знаю, этих историй...

— Здорово. Встречаемся завтра в пять, — сказала Кострома. — В пять, Беловоблов. Все дуэли происходят ранним

утром, это тоже традиция. Про пилю не забудь. Дуэль сначала, а потом истории снова послушаем. Ладно?

— Ладно.

### Глава 13 «Дружба»

— Какие славные ты истории рассказываешь, — передразнил я.

Кострома поглядела на меня с интересом.

— Какие славные ты истории рассказываешь, — повторил я.

— Да брось, — махнула рукой Костромина. — Ты что, решил, что я...

Костромина уставилась на меня, а потом к.б. расхохоталась.

— Что?

— То. Дурак ты, Поленов, дурак. Его заинтересовать надо было, выслушать. А ты его по уху сразу. Так дуэли не делаются.

— И что?

— Ничего. Ты, Поленов, конечно, мой друг, но... Но нет в тебе перспектив. Я это с каждым разом все больше и больше вижу.

Сказала Кострома к.б. с разочарованием.

— Не бойся, не брошу, — тут же успокоила она меня. — Не брошу. Бросать — это не по-человечески. А нам надо стараться жить по-человечески. Но нам надо очень постараться, ты понимаешь?

— Еще как.

— Вот и постарайся. Когда Света придет, поздно стараться будет. Я на тебя надеюсь.

— Я тоже, — сказал я.

Со стороны ангара показался Беловоблов. На плечах он тащил две какие-то громоздкие оранжевые конструкции. Мы с Костроминой переглянулись с непониманием.

— Что это? — поинтересовалась она.

— Бензопилы, — ответил Беловоблов и сгрузил аппараты на асфальт. — «Дружба» называются.

Я представлял бензопилу несколько иначе. Компактный инструмент с отточенным, как бритва, лезвием, которым при желании можно даже жонглировать. Изящный инструмент. Практически шпага. Мне дедушка рассказывал, что в детстве он ходил в цирк, там один вамп жонглировал как раз бензопилами, целыми тремя, а одну не поймал. И она ему прямо на голову и упала. На две половинки распилила. Не думаю, чтобы тремя такими вот «Дружбами» можно было бы жонглировать.

— «Дружба», — перечитала Костромина название. — На самом деле бензопилы. Какие-то очень уж старые.

— Зато надежные, — заверил Беловоблов. — Грубые, но безотказные.

— Пожалуй...

Костромина взяла пилу, повертела.

— Будем биться на них, — сказал Беловоблов. — Как? Я согласно пожал плечами. Можно биться и ими, почему нет?

— Вот и отлично. Тогда поехали. Надо спешить. Едем в аэропорт.

— Почему в аэропорт? — спросил Беловоблов. — Это же далеко.

— Зато нам никто не помешает.

Мы отправились в аэропорт. Дождались трамвая, с лязгом в него погрузились, всю заднюю площадку оккупировали. Поехали. Трамвай трясло, подбрасывало и мотало из стороны в сторону, рельсы были старые и неровные, два раза мы соскакивали с рельс, и вагоновожатый, ругаясь, выходил наружу и возвращал трамвай обратно. Над головой верещало электричество, иногда в салон просыпались синие искры, немногочисленные пассажиры тушили их в воздухе пальцами.

Город закончился, затем прекратился дождь — мы выехали за границы действия погодных установок. Стало медленно светлеть, пассажиры потянулись за масками, а Костромина раздала нам противогазы. Нам с Беловобловым старые резиновые, так что мы сразу сделались похожи на слонов-карликов, а себе новенький карбоновый, не с жуткими кругляками глаз, а с прозрачной маской. Я хотел сказать, что противогаз ей идет, но подумал, что это будет бестактно.

— Аэропорт, — объявил вожатый.

— Наша, — сказала Костромина.

Мы выгрузились.

Это действительно когда-то было аэропортом. Старые, похожие на мертвых гусей самолеты, закопавшиеся носом в землю, ангары, покосившиеся вышки, чудом сохранившиеся полосатые чулки на антеннах, чулки шевелились на ветру, оживляли пейзаж.

— Как раз, — сказала Костромина. — Все выглядит как полагается.

— А как полагается? — неприветливо спросил Беловоблов.

— Как надо, так и полагается... Драться будете...

Костромина оглядела аэродром.

— Вон там, — она указала на круглый топливный танк, блестящий, похожий на вкопанную в землю банку из-под газировки. — На крыше.

— Почему там? — спросил Беловоблов.

— Это брутальнее, — загадочно ответила Костромина.

Мы с Беловобловым непонимающе переглянулись.

— Опаснее то есть, — пояснила она. — На земле вы будете три часа махать, а там... Там даже самая незначительная рана может оказаться смертельной. Это все равно что стреляться с десяти шагов. Что непонятного?

Беловоблов согласно кивнул, и мы направились к танку. Мне было все равно, где драться, но я отметил, что Костромина осуществила правильный выбор — на крыше бака на самом деле красивее. Каждый предпочитает возвышенную смерть.

— Можете не переживать, — говорила по пути Костромина, — я все зафиксирую. Дядя прислал видеокамеру, так что ваша схватка останется в веках. И Света непременно ее увидит. Увидит, что вы не щадили живота своего, пролили кровь, ну, и все такое.

— Мы что, до смерти биться станем? — спросил Беловоблов.

— А ты что, боишься? — тут же ухмыльнулся я.

— Нет. Я не боюсь. Просто...

— Просто ты боишься, — повторил я.

— Конечно, не до смерти, — успокоила Костромина. — Это бессмысленно.

— Почему это бессмысленно? — поинтересовался я. — По-моему, как раз не бессмысленно. Раньше так всегда делали. Он... — Я указал на Беловоблова. — Он встал на моем пути и должен быть... это... строго наказан. Я должен расчистить жизненные пространства, ведь правда?

— Смотри, как бы тебя самого не наказали, — огрызнулся Беловоблов. — Смотри, как бы тебя самого не расчистили.

— Никаких смертей нам не нужно, — сказала Костромина. — Это не отвечает нашим общим интересам. И обесценит всю дуэль.

— Это почему это?

— Потому. Если кто-то погибнет, то мы не сможем показать нашу дуэль Свете — сразу начнется дознание, и победителя серьезно накажут. Поэтому и будем драться на водокач... То есть на этом баке. Кто вниз полетит — тот и проиграл. И даст честное слово, что не будет испытывать по отношению к Свете никаких намерений. Согласны?

— Согласен, — буркнул Беловоблов.

— А вот я...

Костромина наступила мне на ногу.

— Тоже согласен, — закончил я.

— Вот и прекрасно. Ваша доблесть останется в истории. Поспешите же вписать себя в ее анналы.

Мы обогнули несколько больших самолетов и несколько самолетов поменьше, перелезли через гигантский вертолет, приблизились к танку. Вблизи он выглядел гораздо более внушительно — метров тридцать в высоту, не меньше, и гораздо менее блестяще. Походил на толстую рыбу со встопорщенной чешуей. Костромина подпрыгнула до лесенки, подтянулась и поползла первой. Беловоблов за ней, я за Беловобловым.

Крыша танка оказалась немного конусообразной. Конечно, не до такой степени конусообразной, что нельзя удержаться, но все-таки достаточно покатой. Костромина сразу принялась устанавливать на треноге камеру, а мы стояли друг

напротив друга и пытались вызвать в себе определенные чувства.

К.б. ненависть.

Беловоблов перешел мне дорогу, причинил мне тяжелую травму, волочился за девушкой, за которой собирался волочиться я, чем нанес мне тяжелое оскорбление. Теперь я собирался его немножечко поучить с помощью бензопилы и гравитации, а для этого его следовало возненавидеть. Поскольку без ненависти в дуэли смысла нет, без ненависти это так, дешевый театр, хохмодрама.

— Севастьян Беловоблов, я тебя ненавижу, — сказал я, надеясь, что ненависть, облеченная в звук, обретет более плотные очертания.

За которые можно будет взяться, уцепиться, покрошить бензопилой врага, сбросить его с водокачки бытия, не знаю, быстро я стал думать.

— Я тебя тоже ненавижу, Виктор Поленов, — ответил мне Беловоблов.

Я попытался вызвать в памяти образ Светы. Вызвал — возникла она, красивая, в желтых джинсах, человек. И Таня, повелительница дельфинов, вспомнилась. Таня, она была прекрасна. Она была светом, пролившимся на меня, жалкого и ничтожного.

Рядом возник Беловоблов. Бледнорожий, в синем, перемазанном маслом комбинезоне, со сросшимися позвонками, вурдалак, мерзкая тварь, оскорбляющая своим смрадным дыханием лик неба.

Это помогло, но немного. Электричество. Мало его. Совсем мало, я не трамвай, в котором электричества так много, что оно брызгает искрами, не трамвай.

— Изобразите зверскость, — попросила Костромина. — Порычите, в грудь себя ударьте. Поленов, ударь себя в грудь. Будь настоящим мужчиной. Ты же хочешь стать человеком?

Я поднял бензопилу, ударил себя в грудь. Бак у пилы смялся. Пила была старая, не очень крепкая, видимо.

Беловоблов зарычал в ответную. Примерно так:

— Ры-ы-ы-р.

И тоже угрожающе поднял пилу.

— Сходитесь, — крикнула Костромина и приложила к глазку видеокамеры.

Я закричал к.б. с боевым неистовством и кинулся на Беловоблова. Он тоже завопил, мы мужественно сошлись в центре танка, с лязгом и даже искрами, скрестили бензопилы. При этом моя бензопила застряла в бензопиле Беловоблова, он дернул в свою сторону, я в свою, рукояти моей пилы выгнулись и вытянулись, и я осознал все преимущества подобного вооружения. Из довольно неуклюжего снаряда пила преобразилась в грозное оружие — и теперь действовать ею было гораздо сподручнее. И я пошел в атаку, размышляя о том, что все-таки раньше люди были гораздо более изобретательны в смерти, нежели в жизни.

Беловоблов защищался. Он неуклюже застрял рукой в своей пиле, размахнуться не мог и действовал ею как щитом — выставлял перед собой. Моя же пила напоминала смесь меча и палицы, ею можно было как глушить, так и рубить, как крушить, так и дробить, только сейчас я оценил ее небывалую смертоносность.

Я наступал. Размахивал «Дружбой», стараясь поразить Беловоблова в нужные точки — в руки, в ноги, в голову.

Беловоблов оборонялся. И неплохо. Мне до его корпуса дотянуться так и не удалось, зато он изрядно царапнул меня по руке, ударил в плечо и в ногу. Будто всю жизнь бензопилой фехтовал. А может, талант. Генетическая память, а вдруг его предки были мастерами в этой дисциплине? Или в цирке работали. Или...

Я вспомнил, как ловко он играл на барабанах, и подумал, что Беловоблов, наверное, на самом деле талант. Быстро всему научается...

И только я успел об этом подумать, как Беловоблов сделал резкий и почти незаметный выпад. Полотно его бензопилы угодило мне в коленную чашечку и тут же свернуло ее набок. Нога дрогнула, подломилась, я поскользнулся на железе и поехал к обрыву, стараясь уцепиться за гладкую крышу.

Костромина захлопала в ладоши. Видимо, наша дуэль протекала по верным канонам.

Я сумел остановиться на самом краю танка. Поднялся на ноги. Беловоблов с роковой улыбкой, заметной даже через противогаз, устремился ко мне. Он не спешил, опасался набрать скорость и пролететь мимо, приближался твердыми уверенными шагами, жонглируя бензопилой, как тесаком. Я нащупал равновесие, сделал шаг вперед. Мы снова скрестили пилы.

Беловоблов оказался сильнее, я снова стал сползать к краю, он напирал, как бульдозер, вперив в меня свой непримиримый взгляд.

Я даже хотел ему сказать, что после школы ему надо в трамвайное депо устраиваться, трамваи толкать, если вдруг электричество кончится, но сказать не получилось, потому что Беловоблов умудрился меня боднуть. Несмотря на сросшиеся позвонки, а может, как раз из-за этого, удар у него получился чрезвычайно мощный. Я почувствовал, как треснул мой череп, как разошлись затылочные швы...

Костромина ойкнула.

В глазах быстро темнело, Беловоблов отбросил меня к краю и, судя по торжествующему воплю, намеревался столкнуть.

Я вильнул вправо, Беловоблова повело инерцией, я, не размахиваясь, ударил. Мой удар пришелся во вражескую спину, «Дружба» с хрустом врубилась Беловоблову в ребра, застряла.

Кострома охнула. Беловоблов упал. На крышу опустилась чайка, поглядела на нас, как на дураков.

— Роскошно, — сказала Костромина. — Просто «Беовульф» какой-то.

Беловоблов встал. Без своей пилы, ее он поднять не смог, поскольку я, судя по всему, перебил ему позвоночник, и руки у него теперь безжизненно болтались вдоль туловища. Он сделался похож на непредсказуемо диковинное существо — высокий, с гордо поднятой головой, с бензопилой «Дружба», торчащей из хребта. Не поймешь кто. Может, на самом деле этот самый Беовульф.

— Вообще, — крикнула Кострома. — Шикарно.

Беловоблов пытался повернуть голову, оглянуться назад, не получалось — мешала пила, мешала ненормальная шея. Он

сделал шаг, дрыгнул спиной, намереваясь стряхнуть инструмент, тщетно.

Костромина подхватила камеру и стала бегать вокруг нас, снимала с разных ракурсов.

Беловоблов мотал пилой, но при этом старался достать меня, зацепить рукой, боролся до конца, как настоящий рыцарь.

— Сдаешься? — спросил я.

Беловоблов неприлично выразился, за это я размахнулся и ударил его по ноге.

Беловоблов упал снова. Я победил.

Повернулся к Костроме. Она принялась что-то говорить, но без слов, только губами, лицом еще себе помогала, я ничего не понял.

— Чего?

Костромина выключила камеру.

— Теперь скажи, что ты это сделал во имя любви, — велела она и снова камеру включила.

— Я сделал это во имя любви, — я указал на Беловоблова.

— Громче, — прошептала Костромина.

— Я сделал это во имя любви, — сказал я громче.

— Идиоты... — сказал Беловоблов к.б. грустно.

— Сам идиот, — сказал я к.б. в обиде. — И вообще, ты проиграл. Он же проиграл?

— Ничего я и не проиграл...

Беловоблов оказался упрям. Он принялся елозить по крыше, стараясь зацепить пилу за выступающие болты и извлечь ее из спины. Хотя, как приличный дуэлянт, должен был признать поражение и сдаться на милость победителя.

А я не знал, что делать. Добывать поверженного противника было не в рамках дуэльного кодекса, но что-то делать было надо.

— Может, его все-таки сбросить? — спросил я у Костроминой. — Ну, с крыши?

— Не знаю... — Костромина опустила камеру. — Сложная ситуация. Ладно, я думаю, надо его... Надо ему помочь.

— Все-таки сбросить?

— Да нет, помочь. Пилу вытащить.

— Ты уверена? — спросил я.

— Уверена, — сказала Костромина.

Я шагнул к Беловоблову, но он дернулся в сторону. В спине у него что-то зажужжало, потом раздался трескучий железный звук — заработала пила. Неожиданно ожила, брызнула маслом, плюнула синим дымом, заскрежетала цепью.

— Может, ее раньше надо было завести? — спросил я. — Может, надо было работающими биться?

— Может, и так... — пожала плечами Костромина. — Кто же знал...

Беловоблов вскочил на ноги и заскользил к краю крыши.

На лице у него нарисовалось удивление, причем не к.б., а вполне натуральное. Пила заработалась. Я как-то столбенел, а Костромина сказала мне:

— Хватай же его.

Я дернулся, но было уже поздно. Пила застрекотала громче, Беловоблов взмахнул руками и полетел вниз.

Бумкнуло.

Пила заглохла.

— Что-то мне грустно, — сказала Костромина. — Почему мне так грустно, Поленов?

## Глава 14 Потому что навсегда

В комнате кто-то был. Даже не кто-то, Костромина. Запах, размер дыхания, сердце, еще что-то, необъяснимое, но пронзительно индивидуальное. Образ. У каждого свой. Кострома вот лед, Беловоблов — костные дефекты, Сиракузовы — кони дохлые, мать — обои, отец — пыль, дед — колба.

Лужицкий — дельфины.

Я могу закрыть глаза, сесть на улице и ловить образы — вот идет рыба, вот бочонок, вот костные дефекты. Глаза открываешь — и действительно, Беловоблов, шагает, гордо выпятив голову.

Кострома — лед. Наверное, потому, что я увидел ее первый раз на льду, той давней зимой. Тогда стояли такие морозы, что нормализатор атмосферы не справлялся, и река

замерзла. И Костромина каталась на коньках. Вернее, училась кататься — то и дело падала со звуком напряженного стекла — лед не выдерживал, трескался и вздыхал. Я сидел на гранитном парапете и смотрел, как падает снег, а потом гляжу — Костромина падает. И запомнил все это: вздохи, искры, сломанные, в конце концов, коньки. А когда зимние каникулы кончились, ее уже к нам в класс перевели и за парту ко мне посадили. Так и познакомились.

Лед, точно лед.

— Ну что? — спросил я.

— Кузя пропал.

Я открыл глаза, сел.

Костромина стояла, прислонившись к стене. Лица не видно, тень, я прищурился, стало светлее, и разглядел — Кострома напугана. Вернее, искусно делает вид. А может, и напугана.

— Да чего ты переживаешь-то? — спросил я. — Все в порядке. Ну, убежал. Бывает, я слышал, собаки все время убегают. Может, у него это... гон.

— Что?

— Гон. Увидел другую собачку и побежал...

— Ты идиот? — поинтересовалась Кострома.

Нервно так.

Определенно, в соулбилдинге Костромина достигла высот, во всяком случае, нервность у нее получалась вполне достоверно.

— Нет, просто случается, что собаки убегают, — сказал я.

— Я слышал, они частенько удирают, чтобы побродить там-сям, самим по себе, подраться...

— Это кошки, — поправила Костромина. — Это кошки бродят сами по себе, собаки более привязаны к хозяину. Кузя меня очень любил, он не такой.

Я промолчал. Спорить не стал. А что, в истории были случаи. Тигр защищал кролика, волк дружил с гусенком. Но с крокодилами никто, насколько я помню, не дружил.

— Кузя меня очень любил, — уверенно повторила Кострома. — Я думаю...

Она отвернулась как бы в отчаянье. Достоверно. Весьма и весьма, как в кино.

— Я думаю, его похитили, — прошептала Кострома.

— Кто?

— Беловоблов.

Я невольно хихикнул. Хихикнул — сам от себя не ожидал.

— А что смешного? — сощурилась Костромина. — Нам на курсах говорили — животные уже давно пропадают. Маньяк-живодер завелся. Это Беловоблов, точно.

— Успокойся.

Я вылез из кровати, стал одеваться.

— Успокойся. Во-первых, сейчас полнолуние. А все собаки в полнолуние с ума сходят, луна на них, как на рыб, воздействует...

— И на Беловоблова она воздействует, — перебила Кострома. — Он дичает и выходит на охоту. Он проиграл на дуэли, он лишился Светы — вот и хочет отомстить. Тебе он отомстить никак не может, а вот мне...

— Я думаю, что Беловоблов тут совсем ни при чем, — заверил я. — Он еще дня три в себя приходиться будет. После пиры в загравке польку не сразу плясать начинают. Да и это... Вниз он тоже хорошо слетал. Ты видела, какое там месиво было?

Действительно, месиво. Даже ходить не мог. Мы его затащили в салон самолета, пристегнули к креслу, чтобы совсем не рассыпался. А он по пути нас всех проклинал. Думаю, месяца полтора в норму приходиться будет. А что? Сам виноват. Надо было из бензопилы бензинчик-то слить, а он не слил. Или специально его оставил, чтобы меня на этом подловить. Рыл другому яму, а сам в нее и обрушился.

— А что, если у него все по-другому? Если он быстро восстанавливается? Вчера с водокачки упал, сегодня собачку замучил?

— Так не бывает, — успокоил я. — Беловоблов обычный вуп. Как все.

— А помнишь грузовик? Его сколько раз грузовиком сбивало — а ему ничего. Как новенький.

— Да не сильно его и сбивало, так, помаленьку.

— Тогда это ККГ, — сказала Кострома. — Они всем вредят, это же ясно. Беловоблов — в ККГ. И Груббер...

Костромина хлопнула себя по лбу.

— Как я сразу не подумала. Они же вместе всегда бродят, а на дуэль он один отправился. Это Груббер. Пока ты с ним почестному бился, она Кузю украла. И сожрала.

Костромина к.б. нервничала. Сжимала-разжимала кулаки, по сторонам поглядывала.

— Никого Груббера не ела...

— Ты сам говорил, что они собаку сожрали, — напомнила Костромина. — Сам говорил.

— Я пошутил. Поверь, это не они. И не ККГ. Твой Кузя просто убежал. Животные часто от вампов сбегают. У нас руки холодные, это их пугает. И вообще, прекрати истерию. Ничего с собакой не произойдет. И потом... Потом мы его сейчас найдем.

— Но...

— Найдем, — сказал я твердо. — Далеко он не мог убежать. А все эти сказки про ККГ — это не более чем сказки. Нет никаких ККГ, Кузя просто удрал. А мы его найдем. Точно найдем.

И я выпрыгнул в окно. Приземлился на асфальт. Рядом опустилась Кострома. С грохотом.

— Как найти собаку в городе? — спросила она. — Кузя маленький, город большой... Я не знаю... С ним что-то случилось.

Как-то особенно визгливо.

— Найдем мы твоего Кузю, — пообещал я. — Найдем.

— Как? — с к.б. отчаяньем спросила Костромина.

Я почесал нос. Костромина все поняла. Сразу, она ведь была умная, гораздо умнее меня.

— Я... — Она посмотрела на меня. — Я не очень это... Ну... Ты понимаешь, знаешь...

— Я понимаю, — сказал я. — И знаю. Не волнуйся, все будет хорошо.

— Но ведь ты...

Я помотал головой. Кострома замолчала.

Запахи — это самое страшное. От света можно отгородиться легко — достаточно закрыть глаза. От звука можно отгородиться легко — достаточно залить уши расплавленным воском. От запаха труднее всего. Мой нюх приблизительно в полтора раза острее нюха американского коккер-спаниеля. Собаке хорошо — мозг ее слаб и купирует почти девяносто процентов информации. Если бы пес хотя бы на секунду получил мозговые способности человека, он бы сошел с ума. Мы не люди и с ума не сходим, но жить с одним миром вокруг и еще с одним в голове очень сложно. Поэтому при рождении каждому вуперу в нос вживляется биосиликоновая мембрана, критически снижающая порог чувствительности. Вамп растет, и мембрана растет вместе с ним. В результате мы чуем всего лишь чуть тоньше обычного человека. В противном случае...

— Я сейчас, — сказал я.

Сунул руку в карман, достал ножичек. Простой такой, обычный, складенчик, дедушка подарил на пять лет. Из старых запасов, вещь крепкая, в руках не тает, держит усилие. Взял я этот ножичек, вытянул из него штопор.

— Поленов... — сказала Костромина с сомнением. — Поленов, ты что...

Но тут я ее не стал слушать, в жизни бывают мгновения, когда человек не должен слушать женщину, какой бы она ни была. Даже Костромину.

Я подышал на штопор — не знаю зачем, привычка дурацкая, что ли...

Костромина отвернулась. Костромина закрыла глаза. Кострома закрыла уши.

— А уши-то зачем? — спросил я.

Но она не услышала.

Наверное, человек, увидев такое, упал бы в обморок. Надеюсь, Костромина не будет изображать обморок, глупо же...

Она с закрытыми глазами протянула мне платок. Будет, конечно, кровь. Немного, но будет, мембраны, как ни крути, прорастают капиллярами, процедура неприятная. Но другому никак. Сначала левая ноздря, потом правая. Нанодисперсные фильтры, критическая модификация графена,

что-то так, кажется. Отсекают молекулы, крупнее кислорода. Запахи, воду. Ага, при желании можно дышать под водой, примерно до пятидесяти метров. Трансгуманизм на марше. Больно.

Было больно, а потом, почти сразу, я услышал город. Втянул дождь, мелкий и занудливый, длинные улицы, сырой кирпич, электричество, распространявшееся от модификатора погоды, мятный сироп, разлитый в кафе где-то у моста, шоколад, сахар, утечку на гематогеновом складе, бумагу, сорок три кошки, несколько тысяч крыс, полторы сотни собак, занимающихся своими делами, ворон, скучающих на карнизах, злых воробьев, дельфинов, Таню и еще пятерых незнакомых людей, почему-то страуса и еще какое-то незнакомое существо, мокрое железо, химический комбинат, реку, фабрику металлокерамики, соль с Соленого холма и еще много и много, миллионы, все это прямым в мозг, полторы сотни собак, погрязших в своих репьях, блохах и повседневных заботах.

И Кузю.

— Он, кажется, рыбу ест, — сказал я. — Сейчас то есть.

— Тебе не больно? — глупо спросила Костромина.

— Кажется, в районе Автодорожной.

— Он ест рыбу на Автодорожной, — повторила

Костромина.

— Да, где-то рядом. Побежали?

— Погоди...

Костромина вытащила платки, сразу несколько, ворох, разных и даже разноцветных, свернула в крепкие плотные комки и вставила мне в нос. Но это плохо помогало, я все равно чувал почти все. Тогда Костромина скомкала остальные платки и тоже зачихала мне в нос. Штук шесть, плотно, один за другим, как пыжи. Мир погас.

Мы побежали.

Залитые водой улицы, в небе над погодным модификатором светится редкая зеленая рогатка, и от этого все вокруг тоже зеленое и даже какое-то мистическое. Фонари и те горят непонятно как — вроде бы желтым, а вроде бы и красным таким. Я вот вообще не могу понять: зачем эти фонари нужны

— свету от них никакого все равно, а настроение создают вполне похоронное, в гроб хочется лечь.

На улице Космонавтов деревья. Но не простые пластиковые, а настоящие мертвые все, съеденные паразитом и задушенные сумерками, но вырубать их нельзя, поскольку деревья эти — памятник истории — когда-то в наш город приезжали настоящие космонавты и посадили вот эту аллею. Она выросла и умерла, примерно в то же время, когда все остальные тоже умерли, а теперь мы ее бережем. И каждый год в апреле сюда приезжает настоящий космонавт, из тех, кто все время летает на Луну или на Марс. Он высыпает горсть марсианской или другой какой космической земли на Аллею звезд и украшает деревья вечными гирляндами. Полгорода собирается — посмотреть на человека и космонавта. Я тоже три раза ходил, но народу случалось столько, что ни разу я туда так и не попал. А гирлянды за день набираются энергией, а ночью светятся, и если случается ветер, то тут тоже странно.

На Набережной сомнамбулы — неожиданно много, и все, как бильярдные шары, — в броуновском движении, натываются на стены под острыми углами, отражаются, создают хаос, я несколько раз натыкался, и Костромина тоже натыкалась, куда только СЭС смотрит.

Потом короткая улица Горького, тут памятник библиотеке в натуральную величину и переулок Памятников — они стоят в беспросветных сумерках и смотрят в небо, а дальше уже и Автодорожная.

Автодорожная на самом западе, рядом с трамвайным депо. Рано еще, провода без электричества, вагоновожатые вручную выкатывают свои трамваи на рельсы и поют железнодорожные песни. В каждом трамвае всегда два вожатых, на случай, если у одного вдруг начнется приступ равнодушия, то другой подменит товарища. Говорят, что если вагоновожатые долго работают в парах, то рано или поздно они становятся друг на друга похожи, как братья.

На Автодорожной, возле Дома с асами мы остановились, я высморкал из носа затычки и втянул воздух уже медленно, осторожно.

— Там, — указал я пальцем. — Кузя там. Ушел туда.

Я чувствовал собаку Костроминой. Чувствовал даже запах самой Костроминой, оставшийся на ее собаке. Глупый пес Кузя жрал рыбу, рядом была коробка из-под фейерверков.

— Где-то пять километров, — сказал я. — Туда.

Мы пошли. Мы пробежали много, километра четыре и в изрядном темпе, и я не чувствовал никакой усталости. А Костромина только делала вид. Она лучше всех делает вид, если бы проводились чемпионаты по к.б., Кострома не слезала бы с пьедестала почета. Мы бы еще могли пробежать, но этого не стоило делать, собака могла испугаться и скрыться, снова потребовалось бы вынюхивать город, а у меня мозг не железный.

Свернули с улицы Бабушкина в проулок, затем в другой, в третий, проулки, проходные дворы, улочки с названиями, смытыми дождем, я уверенно держал собачий запах, четко висевший в воздухе.

Костромина поторапливала, но я сдерживался, стараясь шагать спокойно и по возможности незаметно.

Кузя сидел в канаве. На улице ...Конского, первая часть названия была прочно размыта. Перед ним лежала горка рыбьих голов, которые Кузя с явным и большим удовольствием поедал. Брызжа слюной, тухлым рыбным соком и гнилыми селедочными глазами.

— Кузя. — Кострома кинулась было к своей собачине, но я поймал.

— Стоп, — прошипел я. — Не спеши. Улыбайся.

— Собакам нельзя улыбаться, — ответила Кострома, — они воспринимают улыбку как оскал...

— Тогда не улыбайся. Скажи ему что-нибудь.

— Кузя, — сказала Кострома.

Кузя уронил рыбью голову, поглядел на нас недоверчиво.

— Кузя, иди ко мне, — позвала Кострома.

Кузя произнес что-то неразборчивое, завалился на бок и принялся самозабвенно валяться в тухлятине. Притягивая, переворачиваясь, наслаждаясь жизнью.

— Иди сюда... — позвала Кострома уже не совсем уверенно.

Но Кузя и не думал слушаться, продолжал валяться.

— По-моему, ему нравится, — сказал я. — Он счастлив...

— Кузя, мальчик мой...

Кострома протянула к собаке руку. И тут случилось так: собака Кузя перестал возиться в своей мерзости — откуда тут, кстати, эти головы? — и однозначно злобно зарычал.

И тут Костромина допустила ошибку. Я не большой знаток собачьей психологии, но мне кажется, действовать следовало иначе. А Кострома попыталась его поймать.

Кузя гавкнул, щелкнули зубы.

— Что это... — Кострома смотрела на руку. — Почему...

Показалась кровь. Вялая и черная. Несколько капель.

Собака Кузя завыл и шарахнулся в подворотню или в щель какую-то, я не заметил.

— Взбесился, — сказал я. — Вот и все. Его, наверное, крысы покусали, вот он и взбесился.

— Он не взбесился.

— Взбесился. С ума сошел. Слушай, я подтверждаю, что он взбесился, тебе его заменят по гарантии.

— Бешеные собаки не могут ничего есть, нас в школе учили, — прошептала Костромина. — Просто он... он меня испугался.

— Да ничего он не испугался...

— Он понял, что мы не люди. Что я, его хозяйка, не человек. Он возненавидел меня...

— Да брось ты. — Я взял Костромину за руку. — Брось. Он же животное, он ничего не понимает.

— Наоборот, — к.б. всхлипнула она. — Наоборот, Поленов, он все как раз понимает. Он понял и сбежал.

— Мы поймаем его еще раз. Сейчас я понюхаю...

— Не надо! Не надо нюхать, Поленов!

— Почему не надо? Мы его сейчас найдем...

Костромина помотала головой.

— Не надо, — сказала она. — Какая разница? Пускай.

Костромина намочила ладони под дождем, стряхнула.

— Неважно, Поленов, — сказала она. — Все так и должно быть. Прах к праху. Потому что навсегда. Потому что Навсегда, дурацкое имя... Пойдем домой.

— Но...

— Домой. Я устала.

Я устала, сказала она. А я не услышал. Надо было, конечно, понять. Но я не понял, думал — это к.б.

— Домой.

Мы развернулись и пошли домой. Выбрались из переулков, под ногами стало потрескивать, я поглядел и увидел, что это лед. Мы шагали, и вода медленно превращалась в лед под нашими квадратными, подкованными сталью ботинками, а мне представлялось, что не лед это совсем, а земля, земля трескается от напряжения, как лед тогда, в первый раз.

Пришел заморозок. Реакторы на станции не справились с нагрузкой и пропустили в город холод. Скоро Новый год.

Беловоблов. Мы живем не в самом последнем по размерам городе, но оказалось, что город этот, свернувшийся калачиком в петле реки, мал, как блюдо: горбатый Беловоблов приближался к нам, вынырнув откуда-то, отделившись от стен, определившись из жидкого от воды воздуха, Беловоблов с безнадежно сросшимися позвонками.

Я увидел его первым, почувствовал, город продолжал впиваться в мою голову, Беловоблов пах водой, железом и вчерашним дуэльным маслом, Костромина заметила его тоже и сжала мою ладонь.

Потому что Навсегда.

— Не хочу, — сказала она. — Пусть он уйдет...

Но я все еще не понимал.

— Да это же Беловоблов. Знаешь, давай его будем теперь Горбатым называть? Это смешно...

Кострома попыталась потащить меня назад, в переулки, но я не собирался бояться какого-то там Горбатого, я его победил, и он был мне не страшен.

Кострома дернулась еще раз и успокоилась, прижалась ко мне, я чувствовал ее холод, холодней дождя.

— Привет, Горбатый, — сказал я к.б. приветливо.

— Привет, — ответил Беловоблов. — Привет.

Мы поравнялись. Он выглядел неплохо. Горб действительно появился — мясоросло там, куда попала пила, но это пройдет, организм справится, главное, гематогена побольше есть, меня затошнило.

— А вы тут что? — спросил Беловоблов. — Гуляете?  
— Гуляем, — ответил я. — Погода отличная. Зима.  
— Зима.  
— Зима. Слушай, Беловоблов, ты коньки не заточишь?  
— Заточу. А зачем тебе коньки?  
— Как зачем? Кататься буду. Со Светой. Все люди обожают на коньках, ты разве не знал? Если и дальше такие морозы будут, река встанет. И мы со Светой пойдем кататься. Вот и Костромина тоже, она умеет.

Тогда Беловоблов сказал. Совершенно равнодушным и пустым голосом, так у нас говорят почти все.

— Она не приедет.

— Что? — не услышал я.

— Не приедет. Света. Я Ингу Сестрогоньевну встретил. Заболела. Света. Кажется, грипп.

Больше он ничего не сказал, пошагал прочь. Гордо держа понурую голову.

Стало еще холоднее, с далекого океана прорвался циклон, неожиданно, спутники проворонили, мало их у нас. Спутники проворонили, а реакторы не справились, их давно пора на профилактику.

И мелкий дождь превратился в колючий снег, сыпавшийся с неба острой манной крупой. Как там, наверху, на телебашне.

Снег.

Некоторое время шагали по улицам, я потерялся и долго не мог понять, где мы. Кострома вдруг взяла меня за руку и не отпускала, и мы запутались в улицах окончательно, начался бульвар со скамейками, фонарями, урнами в виде чугунных пингвинов, а вокруг рябины, наверное, это была Рябиновая аллея.

Кострома резко остановилась и опустила на ближайшую скамейку. И тут же рябина стряхнула снег, и Кострома стала белой и незнакомой. Она замерла, не шевелилась и скоро стала сама похожа на пингвина. Почти не дышала, то есть дышала, но редко, наверное, раз в пять минут, пар не вылетал, и Костромина выглядела остекленевшей. Я смотрел, а потом не выдержал и сел рядом.

Очень быстро нас засыпало.

И мы сидели довольно долго. Чувство мира, и без того примороженное, растворилось, сначала я еще слышал холод и щекотание снежинок по коже, и сердца повисших на ветвях снегирей, птиц, которые обычно не прилетали, гудки городских заводов, самолет, пролетевший где-то высоко, но потом все отступило. Кажется, я уснул. Мы редко спим и почти всегда вполглаза, особенности вампирского мозга, ничего не поделаешь. Но сейчас я уснул. Выключился.

Не знаю, на сколько, если судить по снегу, то надолго. Открыв глаза, я обнаружил возле ног сугробики. Гробики-сугробики. Погода испортилась. А может, наоборот, улучшилась, зима всегда лучше осени. Только неожиданно.

Дикую мы, наверное, представляли картину. Если бы проходил человек, если бы он увидел нас, то наверняка подумал бы, что мы умерли.

Оба.

Но вокруг не было никого, кто бы мог это оценить. Снегири рассуждали о зиме, по аллеям с морозным скрипом брели обледеневшие сомнамбулы и никого больше. Если бы проходил человек...

Впрочем, так оно и было.

Мы умерли.

Из-за снега выглянула луна, и я заметил, как по щеке Костромы медленно, как большая божья коровка, ползет слеза.

Тут я чего-то почувствовал. Не к.б., а по-настоящему, вроде бы. Что-то в животе. Не от гематогена, как обычно, не изжога, другое что-то. Острое, незнакомое.

Схватил ее за плечи, повернул к себе.

Глаза Костроминой помутнели и погасли. Обычно они ровного бледно-розового цвета, иногда с красными веселыми искорками, а теперь нет, теперь они замерзли.

Точно замерзли, сначала я подумал, что это так оно и есть. Холод. Костромина просто переохладилась, такое бывает и с нами...

Но почти сразу я увидел. Не холод. Гладкая голубая пленка.

Из руки Костроминой выпала резиновая мышь. Которая сначала крякала, а потом стала говорить правильно.

Кажется, тогда я закричал совсем по-настоящему. Первый раз в жизни.

## Глава 15 Холодной дождя

Снял с глаз прищепки, проморгался, прополоскал чаем. Хорошо.

Насчет прищепок я недавно додумался. Не я додумался, если честно, Костромина. Сцепляешь веки — и сами не раскрываются, и можно представить, что спишь. Вообще, Костромина много чего, оказывается, придумала, в ее дневнике, наверное, третья часть про изобретения. Конечно, ерунда всякая в основном. Космическая. Костромина, оказывается, приготавливалась. Думала, что если изобретет что-то полезное, то ее возьмут. Прищепки — это из области космической амуниции. В космосе невесомость и глаза все время открываются, даже во сне. Вот Костромина и изобрела — прищепки с мягкими лапками. Очень удобно. Потом тянучую воду еще. Ее разливаешь — а она не разбрызгивается, летает шаром, тоже в космосе очень удобно. Правда, вода эта была только в формулах, Костромина ее так и не сделала, не успела. Придется мне.

Или вот еще, тараканья смерть. Ловушка такая, для тараканов. Эти насекомые — бич всех космических аппаратов, пролезают через все карантинные, портят оборудование, одним словом, вредят по всем параметрам. Травить их нельзя — любая химия в невесомости чрезвычайно опасна, лучше не связываться. А Костромина придумала особые пищалки — приманивают тараканов писком и убивают током. Полезная вообще штука. Их она успела построить, я нашел в ее комнате. Принес к себе, включил. Пищат. Только тараканов у меня дома и так нет. А пищат противно, я бы на месте тараканов в эти ловушки ни за что не полез бы.

Велосипед еще изобрела — совсем удивительно, этого от нее не ожидал. Только построить не успела. Неплохая

конструкция — маховик для гашения избыточной мощности и динамомашин — теперь можно на ходу вырабатывать энергию. Только непонятно, куда эту энергию скачивать. И еще антисобачник. Такой комплексный аппарат, предотвращающий попадание собак под колеса. Во-первых, свисток, отпугивающий всех мелких животных на расстоянии пять метров, во-вторых, специальные крылья-щитки — отбрасывающие в сторону этих самых мелких животных, если они пренебрегут предостерегающими сигналами. Наверное, эффективный. Я построю. Обязательно.

Начинает пищать будильник. Я подхожу к окну.

Хорошая погода. Снег. Белый и какой-то золотистосияющий — в модификаторах погоды изменили настройки — и теперь можно делать разноцветные снега. И дожди. Но сейчас снега, потому что зима.

Протираю стекло и спешу в ванную. Смотрю в зеркало. Ничего. Включается плазма. Бледное, с сине-красными прожилками лицо. Нос, губы, изрезанные мелкими белыми шрамами, красные глаза, кожа...

Никаких изменений.

Но ничего, подождем. Терпение и еще раз терпение, и сто сорок раз терпение.

Иду в ванную.

Сначала левый. Сжал покрепче, дернул вниз и вбок.

Удивительно, но это больно. Действительно больно.

Голову почти до затылка пробивает сияющая молния, разветвляясь по капиллярам мозга электрическим деревом, выпрыгивает из глаз.

Левый клык, как всегда, страшен. Похож на спрута, распутившего щупальца. Пять корней. У людей в каждом нормальном зубе три корня. У нас пять. Поэтому они держатся гораздо крепче, сидят гораздо глубже.

В десне дыра, кровь диким красным сгустком.

Я роняю зуб в раковину, и мне, как всегда, кажется, что он шевелится. Тут же хватаюсь за правый, тяну, клык ломается. Боль в висках, я пробую подцепить обломок, но плоскогубцы не достают.

Тогда я беру дрель.

Это занимает двенадцать минут.

Я прополаскиваю зубы под краном, помещаю под электрополотенце. Две минуты — и они сухие и блестящие. Снимаю с полки банку с буквой «Л», открываю крышку и опускаю туда клык. Это банка для левых.

Уже пятая.

Правый, соответственно, отправляется в банку «П».

Тоже пятая.

Больно. Не знаю, может, мне чудится, но каждый раз чуть больнее, чем раньше.

Сила в зубах.

Смотрю на себя в плазму. Больно. Но надо стараться.

Надо. Я щелкаю плоскогубцами и выворачиваю нижний левый. Нижние идут всегда легче, в этом плюс.

Нижний правый, хрясть. Нижние не различаю, все в одну банку, два раза бряк. Все.

На лбу пот. У меня выступает на лбу пот — и я вытираю его рукавом. Совсем по-человечески.

Все. Самое сложное позади. Я улыбаюсь. Без клыков я выгляжу хуже. Рваные кровавые прорехи, некрасиво. Прополаскиваю водой, плюю в раковину.

Сила в зубах. Достая из ящика подкову, сворачиваю набок. Легко. Опять легко. Почему все время легко?!!

Успокаиваюсь.

В последнее время я научился быстро приходить в ярость. Оказалось, что приходить в ярость достаточно просто: надо напрячь мышцы в верхней части живота, сильно напрячь, свернуть в комок и дожидаться, пока не зажжет, а потом резко распустить. Кипящая кровь рванет вверх, в голову, и на несколько секунд ты утратишь ясность сознания и захочешь сделать что-нибудь резкое. Это и есть ярость. Я тренировался почти три месяца, сидя на балконе и глядя на улицу, и теперь могу напрягать ярость за несколько мгновений, и иногда это происходит даже непроизвольно, так что приходится гасить.

Другие чувства я тоже научился, есть много методик. Для некоторых надо напрягать мускулатуру, для других растягиваются сухожилия, а для третьих требуется сломать, допустим, пальцы. Соулбилдинг. Теперь я посещаю занятия.

Любовь...

С любовью у меня ничего так толком и не получилось, хотя я почти все перепробовал. И бетон, и жажду, и канатом перевязывался. Про книги я и не говорю — много перечитал. Бесплезно. Так ничего и не.

Успокаиваюсь. Чего волноваться, время есть.

Есть. Времени у нас много. Терпение, последовательность, терпение. Смотрю на часы.

Опаздываю. Снова опаздываю. Быстро чищу остальные, хватаю рюкзак, сбегаю по лестнице, подхватываю по пути велосипед.

До школы еще полтора часа, и я должен заехать к Костроминой. Потому что после школы не успею, после школы у меня много дел. Буду кататься на трамвае, смотреть в окно и думать. Потом в книжную лавку, читать. Потом в библиотеку, тоже читать. Кино еще буду смотреть, японское. И еще я должен записаться на прием в поликлинику, на психотесты. Хочу поступить на курсы, получить права на собаку. А потом, уже совсем вечером, в добровольческий патруль — собирать сомнамбул. Кроме того, сегодня среда, и я пойду в шахматный клуб, играть до утра. Но сейчас к Костроминой, шесть минут.

Поднажав, успеваю за пять, да и дорога хорошая, великов мало, а те, что есть, от моего моноцикла шарахаются, как от ладана, сомнамбул тоже немного, вчера мы хорошо поработали. Дверь открыта, матери Костроминой нет. Ее никогда нет, пару раз ее видел. Прохожу на второй этаж, в комнату, я всегда сижу у Костроминой. Минуту, две. Затем спускаюсь в подвал.

Семнадцать ступенек, потом еще семнадцать, дверь. Подвал общий, семейных кабинок нет, вдоль стены стоят скучные колбы, вот и все. Компрессоры жужжат, в колбах циркулирует воздух. Темно.

Я считаю, раз-два-три-четыре, возле девятой останавливаюсь. Включаю подсветку. В колбе просыпаются синие светодиоды, пузырьки окрашиваются бирюзой, Костромина висит в прозрачной глубине, смотрит на меня.

Энтропия. Пока это неизлечимо. Но над этим работают. Я хожу в научный кружок, там говорят, что с этим скоро

покончат. С энтропией, с сомнамбулизмом. Сыворотку, опять же, разрабатывают. Но нужно время.

А пока Костромина спит в кислоте. На ней костюм из черного ультрасиликона, хрустальные очки, препятствующие срастанию глазниц, лица не видно, Костромина похожа на тритона. Только без хвоста.

— Привет.

Я достаю из-под колбы складной стульчик. Титановый. Немного грубый, но это простительно — я сделал его сам, вручную, сломал четыре ножовки.

— Новый год скоро, — говорю я. — Опять. Праздник. Веселье. Я, кстати, учусь веселиться. Не веришь? Могу показать.

Я смеюсь. Ха-ха-ха.

Смеюсь я хорошо, правильно. У меня не только дневник, но и компьютер, получил на соулбилдинге. В нем много интересного, например, программа для правильного хохота. Смеешься — а по экрану скачут красные столбики. А на заднем плане зеленые столбики — это образец, и надо тренироваться, чтобы твои красные совпали с правильными зелеными. Я за четыре месяца научился, и теперь смеюсь, как известный старинный актер.

— Ха-ха-ха, — смеюсь я. — Ха-ха.

Очки у Костроминой поблескивают, вереницы пузырьков обтекают у-силикон.

— И так могу восемь минут, — сообщаю я.

Костромина молчит.

— И плакать могу. Смотри.

Плакать тяжело, долго над этим бился. Мышечная структура включает в себя около трехсот единиц, от огромных годовичных до малюсеньких в глазу.

В слезопроводящих протоках тоже есть мышцы.

— Смотри.

Из моих глаз выползают мелкие слезы.

— Могу крупнее.

Слезы становятся гуще и весомее.

— Ну, как?

Костромина плывет в кислотном вакууме.

— Нет, понятно, что еще не совсем то, но я стараюсь. Стараюсь. Нет, я знаю, что надо по-другому, надо, чтоб от души... Но все равно.

Прижимаюсь лбом к толстому хрусталу. Холодно, даже я чувствую.

— А Беловоблов под грузовик тут попал. По-настоящему. Ничего, скоро выздоровеет. Он же крепкий, ты знаешь. Груббер тоже под грузовик попала.

Ничего.

— Да нет, это шутка. Разве может что-то случиться с Груббер и с Беловобловым? Они вечны, их никаким грузовиком не прошибешь. Поэтому мир не погибнет — он будет держаться на Груббер с Беловобловым — это точка опоры. Так что у нас все в порядке, как всегда.

Пузыри скапливаются у нее под носом, освобождаются, волосы Костроминой вспыхивают черным облаком.

— Ладно, — говорю я. — До завтра. У меня еще дела...

Я прикладываю к стеклу ладонь.

Холодно.

Недостижимо.

— Чуть не забыл. Тебе подарок.

Я достаю из рюкзака коробку.

— Это гирлянды. Я сам сделал.

Действительно сам. Лампочки из велосипедных фар, выкрасил их разноцветно, аккумулятор поставил емкий, его на три дня хватит. Щелкаю переключателем. Огонечки, зеленых больше. Дышу на присоску, леплю на стекло.

— С Новым годом, — говорю я.

Не так. Надо с выражением. Представляю зеленые столбики.

— С Новым годом!

Костромина молчит. Пузырьки сворачиваются в замысловатую спиральку над ее головой.

— С новым счастьем.

**Через сто лет**

— Почему же вы не улетели? — спросил журналист. — Почти все ваши... Ну, кто не захотел обратиться... они улетели. Меркурий, глубокий космос, мало кто на Земле остался.

Сегодня от него пахнет клубникой. Наверное, увидел, как я морщусь при его приближении, и перешел на фруктовую гамму.

— Они улетели, а вы остались на Земле? Почему так? Я промолчал.

— И все-таки, как у вас получилось? — почти шепотом сказал он. — Вы же первый, на кого сыворотка подействовала. До этого почти пятнадцать лет впустую, ни одного положительного случая. А потом вы... Именно благодаря вам удалось запустить массовое производство, это все знают. Почему именно вы?

Я снова промолчал.

— У вас в крови были обнаружены антитела, генетическая мутация... Но это ведь чушь. Чушь! Никакая это не мутация, это Прощение! Профессор Цянь тоже так полагает!

Журналист поглядел на меня с восторгом.

— Вы первый, кто смог... — он сбился. — Первый, кто заслужил... Вы первым стали человеком, это бесспорно. А гены — это лишь физика! Скажите мне, как?!

Журналист заволновался.

— А зачем вы вернулись? — спросил он шепотом. — Почему вы опять стали...

Журналист опять замялся.

— Вупом, — подсказал я. — Вупырем. Вурдалаком. Вампиром. Смешно, за столько лет никому так и не удалось придумать приличного названия. Или глупые, или... еще глупее.

Журналист кивнул.

— Согласен. Но все-таки почему? Вы, первый, кому удалось стать человеком, снова вернулись в прежнее состояние. Добровольно! — Я знаю, что это не самое приятное состояние... — журналист сочувственно покачал головой.

— Это уж точно, — согласился я.

— И все-таки почему?

Я не ответил.

— Это из-за нее?

Журналист улыбнулся, и эта улыбка все испортила. Он мне сразу разонравился, нельзя так со мной улыбаться.

— Она ведь там? — журналист кивнул вверх. — Там? Я узнавал, но туда никого не пускают вообще! Это возмутительно! В наше время какие-то тайны... Вот, у меня тут есть...

Он вытащил записную книжку, принялся листать странички, бормотать:

— «Черный принц», списанный лайнер второго класса, выведен в сектор Солнца, расстояние от Меркурия... Переоборудован в клинику для изучения неизлечимых пока заболеваний — мобильное бешенство, веерный суицид, энтропия... Энтропию так и не удалось до конца побороть... По косвенным данным, на борту содержится около двадцати тысяч инфицированных... Она там?!

Он почти подпрыгнул от любопытства.

В наше время журналистов не было, точно помню. Братья Сиракузовы были, но это совсем другое.

— Энтропия излечима в девяноста семи процентах, остальные три процента, на которых не подействовала сыворотка, находятся на «Черном принце», — шептал журналист. — Вместе с носителями МОБа. Понятно, почему в случае чего станцию просто уронят на Солнце... Извините.

Он покраснел.

— Ничего, — успокоил я. — Ничего страшного. Но они не уронят. Я знаю.

— А вы ее ждете? До сих пор ждете?!

И улыбнулся. Дурак, со мной нельзя так улыбаться.

— Сколько лет ждете? Уже больше сотни ведь?! Это поразительно! Ожидание, длящееся веками! Профессор Цянь считает, что вы — новая ступень...

Я кашлянул. Профессора Цянь я бы спустил с лестницы еще пару раз. Слишком догадливый, слишком болтливый.

— Знаете, я разрабатываю некую этическую концепцию, в которой ваш опыт может стать краеугольным. Это новая парадигма, вы понимаете, не сегодня-завтра человечество шагнет к звездам, техника ушла вперед, а этика отстает. А

разрыв недопустим, это может спровоцировать очередной регресс. А ваша история...

Он еще и философ. Философа мне только не хватало. Этическая концепция, как все сложно.

— Знаете, это одна из самых пронзительных историй... — Он улыбнулся.

Я тоже улыбнулся.

ТАК.

Записная книжка упала на пол. Он, кажется, язык прикусил еще.

— Вы меня извините... — забормотал он. — Я, наверное, позволил себе лишнего. Просто я не ожидал... Извините, пожалуйста, я совсем не хотел...

Искренне. Вроде бы искренне. Я не стал улыбаться еще раз. Я ведь не со зла улыбнулся, просто, чтобы посмотреть.

Философ не убежал.

— Ладно, — сказал я. — Ладно. У меня что-то голова болит сегодня. Приходите завтра. Завтра, пожалуй, поговорим. Про этические системы.

— Да-да, я все понимаю... — философ заволновался. — Еще раз простите, пожалуйста... Я не хотел... Честно, не хотел! Но мне все это очень важно.

Журналист убежал. И клубникой от него уже совсем не пахло.

Но он, видимо, вернется. Этическая концепция — дело нужное, видимо, не отступится. Да.

Некоторое время я сидел в гостиной. Потом солнце утонуло в океане, я поднялся на веранду, повернул телескоп, включил «Пионер». Солнечная корона, шорох Луны, красное смещение.

Как в той книге. Где у него фамилия еще такая дурацкая, а она вообще синяя. Где он на Земле, она на Марсе, и он каждый вечер слушает небо, ждет ее голоса. Но небо, конечно, молчит.

По тропинке шаги. Дэн. Шагал открыто, не крался, пах обидой. Попытался вскарабкаться по решетке до плюща, верхняя планка подломилась, три метра.

Я, разумеется, успел. За шкирку.

— Привет.

— Привет, — хлюпнул Дэн. — У тебя там это... Срезать решил по решетке.

— Ну что? — спросил я. — Когда на Луну?

— А... — Дэн поморщился. — Надул. Сказал, что на Луну достанет, а сам только до «Сола» притащил. А что я на этом «Соле» не видел? Мы туда с классом сто раз уже летали...

— Я тебя предупреждал: не верь журналистам.

— Угу... — разочарованно промычал Дэн. — Теперь не буду. Точно не буду. И ведь, главное, ничего теперь не докажешь...

— Ладно, — успокоил я его. — Не расстраивайся. Все еще образуется.

Выкинул его на веранду. Дэн отряхнулся, размазал сопли. Огляделся, устроился в кресле. Некоторое время мы молчали.

— Ну что? — Дэн кивнул в зенит.

— Ничего, — ответил я.

— Понятно.

Мы еще помолчали. Мне нравится Дэн, хорошо молчит.

— Слушай, а давай его напугаем, а? — предложил он. — Я намажусь фосфором и в глаза вишневый сок закапаю, а пальцы красной краской покрашу, а ты меня на веревке к нему на балкон спустишь? А я вот так завою! Е-а-э...

Дэн завыл, вытянул перед собой руки. Глаза скосил. Страшно.

— Е-е-у... — клокотал Дэн. — Я твоя сме-е-ерть... У-у-у...

— Ладно, — сказал я. — Так, наверное, и сделаем.